

**ТАКОЕ
ДОЛГОЕ
ДЕТСТВО**



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА ЛЕНИНГРАД 1965



АНДРЕЙ
БИТОВ

ТАКОЕ
ДОЛГОЕ
ДЕТСТВО

ПОВЕСТЬ

«Такое долгое детство» — вторая книга молодого ленинградского прозаика Андрея Битова. Ее герой — Кирилл Капустин, студент-первокурсник. Он становится рабочим-грузчиком на шахте в маленьком северном городке, узнает труд, дружбу, любовь, делает первый шаг к зрелости.

во время отпуска, почему и не писал ей, а вовсе не потому, что собирался что-нибудь скрыть. Он написал также, как он уехал: что есть еще надежда и возможность, поэтому уехал, а не потому, что боялся ответственности, или что-нибудь такое. Что тут ему надо как следует поработать, чтобы зарекомендовать себя, и тогда, при ходатайстве всей группы — а группа-то уж его поддержит, — его восстановят в институте. Он просил выслать ему самое необходимое и немного денег (но это только на первое время: потом он заработает и вернет, писал он).

Вскоре выяснилось, как и предполагал Кирилл, что его отъезд со всеми на практику ничего не меняет и ничему не поможет и восстановить его — не восстановят. Но, и убедившись в этом, в Ленинград возвращаться ему не хотелось. Потому что встретиться с родителями, смотреть им в глаза и слушать их упреки — все это его очень пугало. А тут, уехав, он чувствовал себя как-то уверенней и спокойней. Кирилл оставил родителей в надежде, что у него есть «шансы на восстановление», а сам устроился на работу вместе с ребятами. Вся разница между ним и ребятами заключалась в том, что те должны были отработать два месяца практики и вернуться в институт, а Кирилл получил трудовую книжку, и в паспорте, рядом со штампом «уволен», появился штамп «принят», и возвращаться в институт ему не было никакой необходимости.

Мама ответила ему сразу же, и он прочел, что

она не сердится на него, что все они очень его жалеют, что тем не менее он сам поступил безжалостно по отношению к отцу, который так переживает и такой больной человек, что вещи, Кирюша, я уже собрала и завтра вышлю, а деньги уже послала телеграфом, что дома все здоровы, чтобы он измерил себе длину рукава и окружность талии, потому что она собирается вязать ему свитер, потому что в Заполярье очень холодно, что пусть он старается, и тогда, может, его и восстановят, но если и не выйдет ничего, пусть он не расстраивается, потому что все равно она его очень любит и ждет единственного, кровинушку, и пусть он скорей возвращается, и она его крепко-крепко целует — м а м а.

Вскоре за маминым он получил письмо от отца, что он щенок и молокосос, и совершенная тряпка, что пусть он теперь попробует, какова жизнь, и как он не ценил того, что они все для него делали, что он бессердечный сопляк и заставляет страдать и мучиться мать, которая и так очень больна, что пусть он хоть трудом искупит свою вину и покажет, что он не зря носит фамилию Капустиных, среди которых все были очень честные и трудящиеся люди, что пусть он тем не менее бережет себя, одевается потеплее, будет осторожен с купанием и следит на работе, чтобы не было несчастного случая, что деньги он ему выслал и еще передал маме складную удочку и набор снастей, чтобы она отправила их вместе с вещами, там у вас, говорят, замечательная рыб-

ная ловля, он и сам рад бы приехать половить, да загружен работой, ну, Кирилл, держись, жму руку — па па.

И вот еще письмо:

«Дорогая мама!

Скоро месяц, как я тут. Теперь я уже не ученик, а «подземный трудящийся IV разряда» — так это называется. И мне кажется, что я только и делаю, что выхожу на смену: просыпаюсь — иду на смену, прихожу со смены — засыпаю. Работа, как здесь говорят, «медвежья». Но ничего.

Ученичество мое было одна формальность. Работать пришлось с первого дня. Я был определен в «ученики навалыщика» (или насыпщика, что то же самое), то есть, проще, — в грузчики. Что значит «ученик грузчика», до сих пор мне неясно. «Плоское — тащи, круглое — кати», — наверно, это. Стажировки тут полагается месяц, но мне сократили вполовину, чтобы я мог получать как все, и это, конечно, справедливо, потому что «ученик грузчика» — тот же грузчик. Даром тут не платят, говорят работяги, но даром тут и не работают. Шахта — это шахта. Гора — и есть гора, говорят работяги.

Значит, и я работяга, если работаю как они.

Да! Еще номер. Ирония судьбы — опять экзамен! Чтобы получить разряд, надо было сдать технику безопасности. И опять у меня была с экзаменом морока. Еле выплыл. Вроде бы ничего сложного, но упомянуть все эти осторожности невозможно. Однако люди, занимающиеся техникой

безопасности, требуют, а члены комиссии даже именуют ее наукой. И основной принцип этой науки, как говорят работяги: и кочерга раз в год стреляет.

Но и этот экзамен — в прошлом.

А в остальном — все хорошо. С ребятами я по-прежнему дружен. Хотя мне становится с ними все труднее. Я их не понимаю временами. С ними я или не с ними? Как-то неясно. А с работягами отношения налаживаются. Даже лучше, чем с ребятами...»

И т. д.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**ТРИ ДНЯ
НЕУВЕРЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА**

Коля-друг

Кирюша докурил сигарету.

— Ну что, пошли? — говорит Кирюша.

— Посидим еще, — говорит Коля, — куда торопиться.

А Кирюша и рад. Недельная усталость гудит в тяжелом теле. Сигаретку новую достать — и то так трудно кажется, что лучше и вовсе не курить. И ладони все полопались, пристают к лопате. Работашь — еще ничего. А как присядешь на перекур — так и не встать потом. Коля — другое дело: вдвое меньше Кирюши, втрое легче, а никогда не

устаает. Такая у него была жизнь, что не способен он теперь от работы устать. И тюрьма, и война, и шахта — тридцать лет из сорока пяти — вся жизнь. Привычка. А если и устал он, то другой усталостью, которой Кирюша и представить-то себе не может, а работа — что.

Докурил Коля папироску.

— Ну что, Кирюша, пошли? — говорит.

— Посидим еще, а? — почти жалобно говорит Кирюша. Размяк он, и неправдой ему кажется, что способен он двигаться.

— Да там уже ничего и работы-то не осталось, — говорит Коля. — Нам двоим — это на пять минут.

— Вот смотри, — говорит Кирюша, протягивая Коле руку и разворачивая ладонь. — Видишь, что творится?

И сразу стыдно ему становится своей слабости. А Коля светит лампой на Кирюшину ладонь и сокрушенно качает головой.

— Как же это ты? Я же тебе говорил, в рукавицах надо... Для чего же рукавицы?

— В рукавицах неудобно. Ты ведь тоже без рукавиц?

— Ну я... Я — что... Ладно, ты уж тут посиди, Кирюша, отдохни. Я как-нибудь справлюсь сам потихоньку. Там пустяки.

— Нет, что ты... я тоже, — говорит Кирюша, а сам не встает и просто уже ненавидит себя за это.

— Да что ты! Сиди. Что я, не понимаю...

И Коля ушел по-штреку. Невидный узловатый мужичок.

Таял и погас за поворотом свет Колиной лампы. Таял и растаял звук шагов.

Кирюше вдруг стало покойно и хорошо. Угрызение куда-то отступило и исчезло. Устроился поудобнее, закурил.

Тихо-тихо. Далеко их сегодня услали... Так тихо. Такого и не бывает. Любая тишина подтверждается звуком. А тут — ничего. Как в могиле.

Подумал об этом — родились звуки. «Тики-тики! Тики-тики!» — часы на руке. А вот это сердце: «Т-тук-тк, т-тук-тк», — странно как-то бьется, неловко. И наплывами, фоном: «Ш-шу! Ш-шу!» — ш-шум в уш-шах.

Тишина. Звуки. Часы еще можно трахнуть об стенку — замолчат. А все равно... Живой — звучу. Забавно...

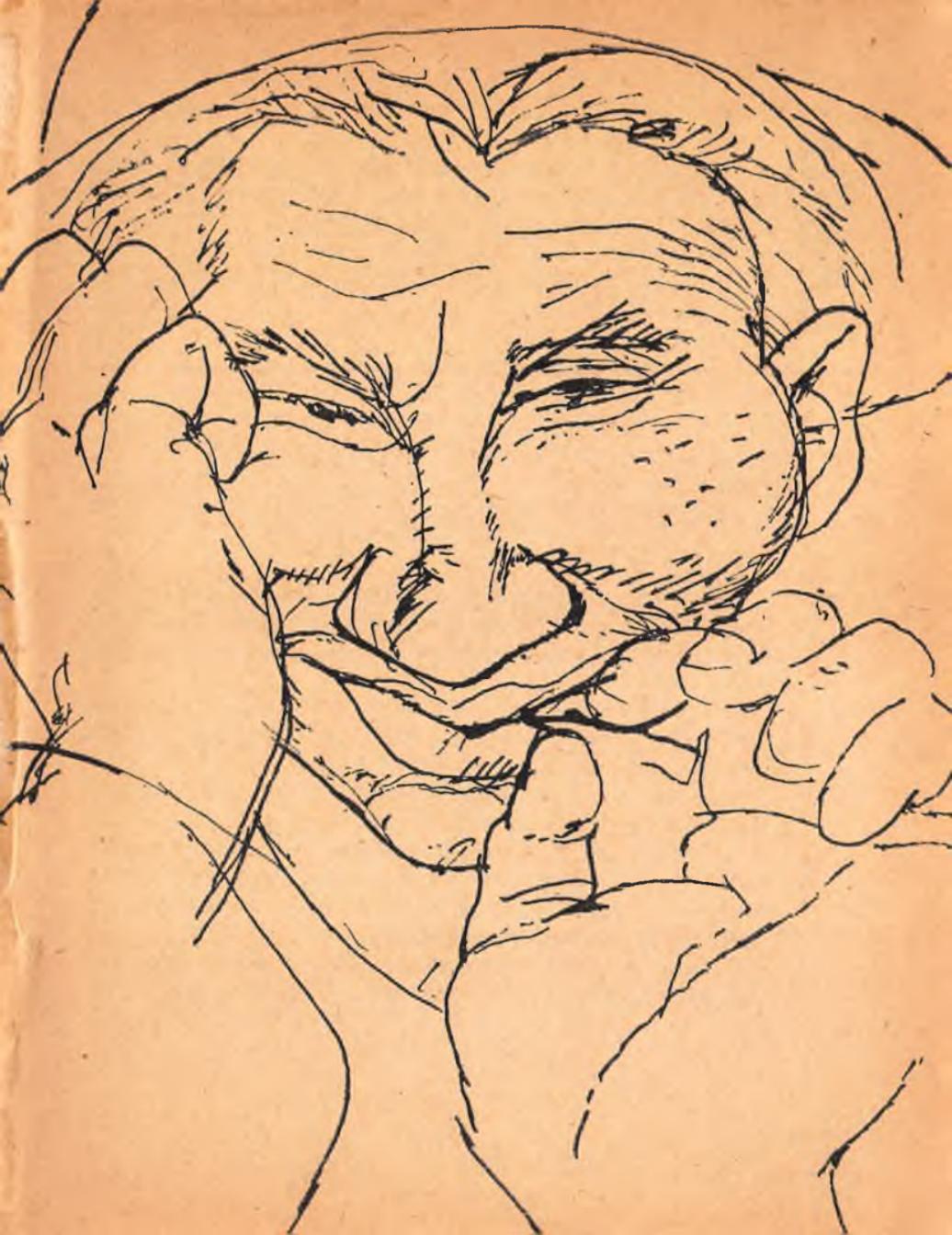
Кирюша выключил лампу. Некоторое время ползали перед глазами радужные круги и пятна. Уплывали куда-то вверх, снова возникали, слабее, слабее. Красивые пятна. То с красной каемкой, то с зеленой.

Уплыли.

Можно раскрывать и закрывать глаза — и это все равно.

Темно-темно. Такого и не бывает. Темнота подтверждается светом. А это слепота.

Вряд ли где-нибудь еще можно встретить такую тишину и темноту.



Как в могиле.

Подумал об этом — вытащил из кулака сигарету. Затянулся. Как много света — затяжка! Можно увидеть стену и себя целиком.

Спрячешь — снова темнота.

Включить фонарь — и не бывало! Запеть что-нибудь...

Пел.

Прикрыть рефлектор рукой — красные, прозрачные пальцы. Чуть раздвинуть их, освободить свет — длинные, узкие, скрюченные, зашевелиятся на влажных, неровных стенах полосы. Живые, страшные...

Подземелье, сокровища... Гигантский паук. Снять руку — и не бывало! Запеть...

Пел.

И вдруг чудо пропало. Вдруг он понял, что замерз. Что сидит он на холодной и жесткой лопате. Стало неудобно и неуютно. И одиноко. А Коля там один вкалывает...

Когда он добрал до Коли, тот уже кончал работу. От большой кучи породы осталась кучка. Теперь и включаться в работу как-то неудобно.

— Оставь мне хоть немножко, — находится Кирюша. — Дай согреться. Посиди покурю.

Коля-друг — замечательный человек. И не подумал сделать такое лицо: мол, что тут оставлять — ничего и не осталось. Не попрекнул ничем. Просто отошел в сторону.

Как же болит все тело! Но от кучи осталось так мало, что даже согреться Кирюша не успел.

— Вот и все, — сказал Коля, — на сегодня все.

А до конца смены больше часа. Кирюша счастлив, что на сегодня — все: устал. А Коля не устал, но выучка у него такая: сам себе работы не ищет. И снова сидят они вдвоем и курят. Далеко они от всех — никто к ним не придет, никакое начальство.

— А если мастер придет? — говорит Кирюша. — А мы все уже сделали?

— Не придет он, — говорит Коля. — А если и придет, что он нам скажет?

Сидели на лопатах Кирюша и Коля. Терялась в хилом свете, уходила в черноту выработка. Вдруг оттуда вырвался лучик света.

— Зачем ты только про него сказал — вот он и легок на помине... — Коля как бы заметался, сделал движение вскочить, взглянул на Кирюшу — остался сидеть. Потускнел только.

— Ну и что такого, разве мы не отработали свое? — печально сказал Коля.

Луч остановился. Ослепил. Черной длинной тенью встал над ними мастер.

— Сидите? — сказал он.

— Да вот, Женя, перекуриваем... только сели, — неожиданным ласковым говорком засеменял Коля.

— А работа как? — сказал мастер.

— А что — работа... Ничего работа... Сделана работа.

— Сделана уже? Проверю, — сказал мастер и помолчал в недоумении. — Ну и что же, что

сделана? Почему бы тебе, Коля, не прийти и не сказать? Рабочий день кончился? Нет. Приди и скажи: так и так, вот, сделали все. Сознательность твоя где?

— Сознательность?.. — сказал вдруг Коля новым, прерывистым, брнчащим голосом. — Ну что ж, давай, давай! Давай еще заданьце. Выдумывай работу! Начальнички...

— Ладно, Коля! — сказал мастер. — Я ведь не для тебя, для него говорю, — кивнул он на Кирюшу. — Человек работать учится. А ты хорош, не знаешь меня, что ли? Разве я бы не отпустил?.. Сидите уж, черт с вами.

И ушел, обиженный, унес качающийся луч. Осталась темная дырка выработки. Коля смотрел в землю.

— Что он мне сказать может!.. — неуверенно говорил он, пытаюсь сохранить достоинство. — Разве мы не отработали свое?.. Хороший он человек, да не люблю я начальников. И ничего поделать не могу... Дай-ка мне лучше сигаретку твою, Кирюша. А то у меня от папирос кисло как-то во рту...

— А ты мне папироску.

Зажглись огоньки.

Коля как-то загрустнел.

— Хорошо человеку, который спортом занимается, — сказал он. — Ему и квартира. И вкалывать не надо. Вот у нас есть такой мастер спорта — так он и не работает вовсе. Ты его видел? Вот и не видел, потому что на работу он почти не ходит.

Гири подымает. А рабочему человеку — ему все самому приходится. . .

Коля выплюнул окурок. Тот попал в мутный ручеек и уплыл. Потом Коля долго рассматривал свой палец — кривой и желтый. Подставил под него лампу — палец не просвечивал. . .

— Вот ведь какой! — сказал он. — И всего-то один годик поработать тебе осталось. Деньжат подсобрать. Домик я на Волге куплю. Сговорился уже. Вдова одна хочет продать. И буду я там лесником. Родился я там. . . Мама у меня там, брат. Вот жизнь! Брат на лесопилке, а я, значит, лесником. Хозяйство свое — раз, дом — два, корову мне мама присмотрела — три, — загибал он корявые пальцы. — А то еще, пойду на курсы судовых механиков: летом плавать по Волге буду. Красиво там. . . Да что ты думаешь, — разволновался вдруг Коля, — я и не только туда могу! Вот меня и тесть к себе зовет. В Забайкалье. Он там тоже лесником. А жизнь там! Охота. . . Хватит уж мне горбатиться. . . Годы не те. Вот выкуплю домик. . . или на судового механика. . .

Дурачок

Сегодня особенно долго тянулась смена. И так ждали конца ее, что сквозь это ожидание проступали расплывчатые очертания чего-то большего, чем просто конец смены. И когда он спрятал ин-

струмент и поднялся в разрядку, когда он сидел в разрядке и курил там папироску, а мастер сказал: «Ну что ж, двигайте потихоньку», когда они шли по материальной штольне, и лампы раскачивались в их руках, а об стенки выработок беззвучно бились их чрезмерные косые тени, и кто-то сказал: «Вот и суббота кончилась», а еще кто-то: «Нет, только началась», — когда мощная струя воздуха из вентиляционного ствола пригнула их фигуры и хлопнула крыльями их брезентовок, когда вдали показалась дырка и пока эта дырка ясна, превращаясь в свет, — ощущение чего-то большего, чем просто конец смены, утвердилось вполне. А когда они вынырнули на поверхность, и небо оказалось над головой, а на склоне была трава, и тихий туман стлался по озеру, а за озером был город, розовый и чистый, — он ощутил это как рождение.

В душе было хорошо. Было много горячей воды, и всем выдали новое мыло. Работяги, раздевшись, были здоровые и молодые. А гардеробщица улыбнулась ему как своему: «Ваш — сто тринадцатый?» — сказала она на память и сняла его одежду со сто тринадцатого номера. Одежда после работы показалась ему невесомой. Одеваясь, он разглядывал свою грудь и руки, ноги тоже нравились ему.

Направляясь к столовой, он шел как-то особенно упруго, без нужды напрягая все мускулы, и тогда ему казалось, что он с легкостью сделает сейчас сальто, двойное или тройное, и пойдет даль-

ше, словно это ничего ему не стоило. Тут на него чуть не наехала десятитонка — так он отвлекся. Она ревела, задрав морду, и он отпрыгнул с бьющимся во все стороны сердцем. Тогда он стал думать о перенесенной опасности, о том, какое мужественное и сильное у него лицо, твердое, с живым взглядом. Рисуя себе таким свое лицо, он взбежал по лестнице столовой, в дверях галантно отступил в сторону, пропуская девушку, и девушка взглянула на него в упор, испытующе и с интересом.

И вот он в вестибюле столовой. А перед ним зеркало в рост. А в зеркале — он какой есть, что явилось для него полной неожиданностью и разочарованием: круглое его лицо, распаренное после душа, нелепо выпяченная губа и бессмысленные глаза (мужественное выражение), волосы торчат во все стороны — чистые, рассыпаются, и вся фигура неожиданно широкая и будто даже короткая. А рядом смеялись две девушки.

Одно шло к одному. Он обнаружил, что у него нет профталона на обед. Чем больше он рылся по карманам, тем больше ему хотелось есть. И денег при себе не было. А рыться по карманам было тем более глупо, что свой профталон он вовсе и не терял, а сам проел перед сменой, и это он вдруг вспомнил.

— Кирюха, ты чего ждешь? — Кто-то сжимал его локоть.

— А, Брюнет... — сказал Кирюша. — Да вот, понимаешь, талона у себя не нахожу.

— Ну, талон... Ерунда. Пошли. Следи за мной.

И Брюнет потащил его к очереди.

Кирюша ощутил ту же не совсем ему ясную неловкость, которую он испытывал в последнее время, когда в обществе работяг вдруг сталкивался с практикантами, своими бывшими однокашниками. Ему казалось тогда, что все принимают его тоже за студента, а этого ему теперь почему-то не хотелось.

А Брюнета он и всегда не любил.

— Ты что, с луны свалился? — говорил ему Брюнет, пока Кирюша испытывал эту неловкость. — Мы всегда так делаем. Она ведь талон забирает и выдает суп, а второе ты потом подходишь и забираешь с прилавка сам, уже без талона... Вот, смотри.

И Брюнет сосредоточенно направился к раздаточному окну, спокойно забрал второе и кисель и невозмутимо направился к свободному столику.

— Ну что же ты! Давай, — прошептал, проходя мимо.

Кирюша решительными шагами направился к окошку, но, подойдя, все забыл, что надо теперь делать.

— Здравствуйте! — выпалил наконец он и покраснел.

— Здравствуйте! — сказала раздатчица и прыснула. — Ну что, отработали?

— Да, — вздохнул он, — отработал вот.

Потоптался. «А теперь что делать?» — поду-

мал он. Вдруг вспомнил: у него же есть талоны на молоко!

Раздатчица забрала талон и подвинула к нему кружку. Молоко он, впрочем, не любил.

— Послушайте, а нельзя ли обменять два талона на стакан сметаны? — сообразил он.

— Сейчас узнаю, — терпеливым голосом сказала она и скрылась с талонами.

Он оказался один. Перед ним стояли тарелки — жареная колбаса с картошкой. Неожиданно для себя он схватил тарелку и, не глядя по сторонам, понесся за колонну: там столики. Из-за колонны внезапно появилась тетка в белом халате и с грязной посудой. Они столкнулись. У тетки упала одна тарелка, у Кирюши — его колбаса. Тетка в белом кричала. Но тарелка оказалась целой. И тогда, как всякий виноватый, но еще не разоблаченный человек, Кирюха перешел в наступление.

— И что вы кричите! — грозно сказал он.

— Где же вы пропали? — крикнула раздатчица. — Вот ваша сметана.

— Да вот, помогал... Посуду убирал.

— Да? — сказала она и прыснула.

— Спасибо, — стусевался он.

Кирюша сидел и жевал бесплатный хлеб со сметаной.

И опять Брюнет:

— Так и не решился?

— Да иди ты!.. — отмахнулся Кирюша.

— Ты что, может, думаешь, что им попадает

за это? Как бы не так. Попадало бы — так они знаешь как бы следили!.. Сами тащат.

— Проваливай, говорю тебе! — разозлился Кирюша.

— Тоже мне, под работягу играешь... — сказал Брюнет, отступая.

Кирюша вскочил. Но Брюнета уже не было. «Меня вот выгнали, а его — не выгнали...» — с тоской подумал Кирюша.

У проходной скапливался народ. Ждали автобуса.

— Закуривай, Кирюша!

Вот и прекрасно. Все равно он сыт. И затычка после еды — всегда в радость. И сегодня — суббота, а завтра — воскресенье.

— Автобус!! — рявкнули хором.

В этот автобус не входят по очереди, не уступают женщинам и старикам дорогу, как в Ленинграде. Здесь едут с работы, и здесь надо суметь занять место. Вот так — раз-раз! — дергался Кирюша в серой грозди спецовок, такой большой, что необыкновенно узкой казалась щелка двери. Но вот он внутри — и есть еще свободные места. «Слева или справа?» — подумал Кирюша. И бросился налево. А там как раз смачно хрустнул сиденьем здоровенный парень. Направо? Но там тоже уже кто-то сел и, держа широкую черную ладонь на сиденье, кричал: «Ваня! Ваня!» «Это не меня...» — подумал Кирюша, обреченно хватаясь за поручень. И вдруг: «Кирюша! Садись скорей — я занял!» — донеслось до него.

И место у окошка.

Автобус, набитый и обвешанный, тронулся. В окошке начинался рабочий поселок и кончался рабочий поселок. За поселком поворачивалась гора и открывался край озера, низкорослые, судорожные сосенки и березки то подбегали, то отбегали, и было в них что-то отчаянное. И начинался еще один рабочий поселок. Входили люди. А на заднем сиденье сидело семь человек, и было им вполне свободно. «А в Ленинграде едва умещается пять», — подумал Кирюша. Автобус невозможно дребезжал. В щели пробивалась пыль, висела облачком в воздухе и ложилась ровным слоем на плечи и колени.

Перед Кирюшей оказалась крупная, видная девка. И Кирюше стало снова весело и хорошо, и смешно отчего-то.

— А что? Ничего... — заметил он, толкая в бок соседа.

— Да, в самый раз, — согласился сосед. — Да у тебя, я вижу, губа не дура.

— Эй, милая! — окликнул он ее, указывая на Кирюшу, — смотри, парень-то хоть куда!

Девка разбитная, лукавая...

— Ишь ты, миленький, — пропела она. — Розовенький-то какой, прямо пряник... — И щипнула Кирюшу за щеку.

— Но-оо! — пробасил Кирюша в смущении. — Ты не очень-то, здесь не сеновал... — И вовсе потерялся от такой своей фразы,

— А что — хочется тебе на сеновал? — рас- смеялась она.

Автобус снова остановился, и появились двое: один пьяный так, что и не разглядеть его, а с ним могучий парень, совсем трезвый. Вошел и заулыбался нагло, обнажая прекрасные зубы. Он как-то сразу оказался рядом с девкой и зашептал ей что-то жарко в ухо. Девка быстро растаяла и рассыпалась мелким, сладким смешком, а глаза ее за- скользили, всё в сторону, в сторону. «Красивый парень, — подумал Кирюша ревниво и с восхище- нием, — прямо странно...»

А пьяный все катал свою голову по груди, а иногда вскидывал и тогда говорил: «Со мной по- хорошему — и я по-хорошему», или «Ну, а если со мной по-плохому, то берегись!» И красивый па- рень вдруг забыл про девку — мало ли их... Такой он был уверенный и все про себя знал. «Ну кто же с тобой по-плохому?» — ласково говорил он, обни- мая приятеля, и та же лихая улыбка у него на губах. Легким, открытым движением вытащил он из кармана приятеля пятерку. И так же спокойно улыбался, ничего не изменилось в нем — всё на виду — поэтому-то никто и не заметил. «Кто ж с тобой по-плохому? — говорил парень. — Ты мне скажи. А я тебя не брошу. Вот сейчас пойдем по- хмелимся. Я ставлю... А?»

Кирюша с удивлением, почти с восхищением, смотрел на парня, и тот заметил это.

— Ловко? — сказал он в той же улыбке.

— Ловко, — согласился Кирюша.

— Видел?
— Видел.
— Ну и дурак же ты, парень! — рассмеялся он.

Кирюша улыбнулся смущенно.

— И в Ленинграде ты был?

— Я из Ленинграда.

— Ну и дурак же ты, парень! — залился он.

— И в Москве был?

— И в Москве был.

— Ну и дурак же ты, парень! — захохотал он.

— Чего же дурак? — запоздало обиделся Кирюша.

— А так — дурак. Видел?

— Видел.

— Вот и дурак. Ты видел, а вот он, — красивый парень ткнул пальцем в Кирюшиного соседа, — не видел. А видел бы... — что-то грозное появилось в голосе парня и снова перешло в смех, — тоже был бы дурак.

— Видел? — снова повторил он.

— Не видел, — засмеялся Кирюша.

— Вот и умница, — сказал парень.

Кирюха

Однако — суббота.

В общежитии, где он жил со своими бывшими однокашниками, никого не было видно. Он поднялся к себе и в своей комнате тоже никого не

обнаружил. Зато дальше по коридору дверь в одну из комнат была приоткрыта, и оттуда несся шум. Он пошел на этот шум и там увидел всех. Комната была битком, и дым коромыслом, и гвалт. Что-то праздновалось. Или даже было уже отпраздновано. Было так, словно ребята собрались что-то затеять, или, наоборот, только что кончили затею, или не знали, что затеять. То ли они собираются сыграть во что-нибудь, то ли спеть, то ли пойти куда-нибудь вместе, то ли просто спорят: о футболе, книгах, вине и женщинах — и вообще — о спорте. Потому что все они, чуть ли не прежде всего, — спортсмены...

Он вошел, и все закричали неестественно радостно и громко:

— Кирюха пришел! Кирюха!..

— Ну как, Кирюха! Ну что, Кирюха! — кричали они, похлопывая его и подпихивая.

— Выпиваете? — сказал Кирюха.

— Именинник есть! Именинник имеется! — кричали ребята. — К нам, Кирюха, к нам! — кричали они.

Кирюха — авторитет. Он у ребят теоретик. Как так получилось, ему самому непонятно: то ли голос у него такой, то ли манера говорить — самому противно, а слушают. Вот разговор о винах, как бы умный, мужской, — у всех значительность на лице.

— Вот Кирюха скажет... Кирюха, скажи ему!

И Кирюха говорит:



— Да, это прекрасное вино, — говорит Кирюха. Или:

— Дрянь, — безжалостно говорит он.

А самому стыдно. Все чего-то стыдно ему в последнее время... Откуда он, к черту, знает, что это за вино, в конце-то концов! Какое ему дело... Так он думает, а говорить — все равно говорит, тем же голосом.

Потом о писателях.

— А вот еще, Кирюха... «Замок Броуди»?

— Кронин? — говорит Кирюха. — Плохо это.

— Ну как же, Кирюха... Помнишь, там место одно есть, когда он ее...

— Не помню, — отрезает Кирюха.

— А вот еще немец такой, Бёлль...

— Бёлль, — говорит Кирюха, — это хороший писатель.

— А Хемингуэй? Как ты относишься к Хемингуэю?..

— Это тоже хороший писатель.

Прямо пытка...

Потом, конечно, о женщинах.

И это совсем позор.

Однако — суббота. Мишка, лучший друг, взял гитару. Играть он, положим, не умел, но грустное лицо у него получалось. И все пели. Орали. Кирюха не пел. Во-первых, он не умел, а во-вторых, просто ненавидел, когда так пели. И песня — конечно, студенческая — никуда не годилась. Он сидел, спасаясь от неудобства снисходительной полуулыбкой.

Пели, пели — надоело.

Однако — суббота. В субботу танцы в городском клубе.

— На танцы! На танцы! — закричали вдруг все.

— Кирюха, пошли на танцы?

Кирюха не ходил на танцы. Потому что танцевать не умел. Все-то ему надо было действительно уметь, прежде чем делать. И ничего-то он не умел из того, что умели все. Ни в футбол, ни в баскетбол, танцевать — тоже. Трудно ему через это приходилось. «И что это я за человек?.. — говорил он себе с горьким недоумением. — Раз я не умею ничего из того, что умеют все, то, может, я умею что-то, чего не умеет никто? Но что же это?»

— Ну что — танцы! — говорил Кирюха. — Танцы — это...

Так все и происходило... Он терпел, но не уходил, когда ребята спорили, не уходил, когда ребята пели, — так и на танцы пошел со всеми, хотя очень ему это все не нравилось.

Но что было делать?

Первый бал

— А ты все скучаешь? — говорил лучший друг Мишка, подходя к его колонне. — А ты не стой, ты пробуй, — говорил он. Он опекал, он инструкторовал... Ему, по-видимому, это льстило.

Всем, мол, хорош Кирюха, вот только в этом вопросе недоразвитый какой-то, и надо его подразвить, надо его подтолкнуть, надо его свести с кем-нибудь, — все это шло у Мишки из лучших соображений.

— Не умеешь? Ну и что. Это их не смутит, — говорил он, крутя головой во все стороны вслед за девушками. — Ты, главное, сам не смущайся.

— Да не смущаюсь я! — говорил Кирилл зло, потому что в этом была правда: он смущался. И потому надеялся, что это у него незаметно.

— Да что тут танцевать!.. — говорил Мишка, оглядывая битком набитый зал. — Тут и поворачиваться не надо. Пстой!.. — И он убежал. «Привет, Галчонок!» — услышал Кирилл его голос в стороне и, повернувшись, увидел беленькую девушку, очень славную, как ему показалось. Она смеялась неправдоподобно весело и все время трогала кончиками пальцев Мишкину руку.

«Вот ведь...» — неопределенно что подумал Кирилл, но в этом была зависть.

А Мишка вдруг оставил эту девушку и подбежал к другой. Встреча была такой же оживленной, и девушка — не хуже первой.

«Сколько их... у него...» — думал Кирилл.

Уже начался новый танец, и Мишка пролетел мимо него с третьей девушкой.

— Давай, Кирюха, не теряйся! — крикнул он на лету.

Тоскливая досада на Мишку поднялась в Кирилле. Он не хотел его больше видеть, и он поки-

Нул свою колонну, отыскал новую и подпер ее.

Так он стоял и один, и другой, и третий танец. Он уже узнавал лица многих девушек, так или иначе нравившихся ему. Они проплывали перед ним, как небольшие планеты, и ему уже казалось, что орбиты их — постоянны. Так он ожидал увидеть в определенный момент определенное лицо — и действительно видел его в этот момент. И все они танцевали не с ним. Он видел их, ждущих приглашения, они томились, они поглядывали на него, а он все не решался им помочь. Он видел, как они, скучающие, тоскующие или напускавшие безразличие, вдруг обретали партнера, потом партнер приглашал вторично, орбита становилась постоянной, и они, ждущие, тоже уходили от него и не замечали его больше. А он все не решался. Он все назначал себе следующий танец, и выбирал для него девушку, и перебирал подходящие фразы, и потом снова назначал себе следующий, когда он подойдет уже наверняка и без всяких, — и снова ждал следующего, и снова подбирал фразы. Он устал от бесплодного своего волнения и тогда стоял уже тупо и равнодушно, и лица танцующих сливались для него. «Да ну к черту, — говорил он себе, — стою тут как мальчишка! Давно пора уходить, раз уж, дурак, приплелся сюда...» Но, хоть и равнодушный, а все равно не уходил.

И снова его отыскал Мишка.

— Все в той же позиции? — говорил он, и его

дурацкая ирония ранила Кирилла. — Может, тебе не нравится никто?

— Нет, — отвечал Кирилл, — нет тут ничего подходящего.

— А эта? А эта?

— Нет, — мрачно отвечал Кирилл.

— А вон, посмотри, как та на тебя посмотрела...

— Где? — выдавая себя, встрепенулся Кирилл.

— Вон... Вон там.

— Это она на тебя посмотрела, — сказал Кирилл, спохватываясь и пряча интерес. «На кого же из нас двоих она смотрела?» — подумал он.

— На тебя, на тебя, — сказал Мишка. — Я сейчас... — сказал он, и его уже не было, он смеялся теперь уже с тремя девушками сразу.

А она продолжала смотреть в его сторону, и чем дальше она смотрела, тем больше нравилась ему и тем определенной казался ему ее взгляд.

«Пожалуй, она на меня смотрит...» Он все решал подойти к ней, и, когда совсем решился, объявили дамское танго. Кирилл почувствовал разочарование и облегчение одновременно. И уже старался не смотреть в ее сторону и думал так: «Вот если она меня пригласит, то это значит...» Что значит? Да ничего не значит. И напрягался — весь ожидание.

Сначала была просто музыка и пауза замешательства. Вскоре затанцевали постоянные пары. Потом наиболее решительные девушки нашли

себе кавалеров. А Кирилл все стоял с бьющимся сердцем. А она все не приглашала его. «Но она не приглашает и никого другого...» — утешал себя Кирилл. Между тем какая-то другая девушка направлялась к нему. Кирилл замер. Подумал черт знает что о своем лице — вроде как «шрам пересекает его высокий лоб», — но девушка пригласила соседа. Он сразу как-то обмяк, и тогда к нему подскочили сразу две. Кирилл опять замер — весь на-встречу.

— А где же Миша? — спросили его. — Вы не видели Мишу?

Сердце перестало стучать, и все как-то отхлынуло.

— Вон там, под овощами... — процедил он, махнув на огромный натюрморт, украшавший стену напротив.

«Дамское танго... бред какой-то!» — подумал он с утешительным раздражением и тайком, не желая напрашиваться, взглянул на нее. Она все смотрела в его сторону. «Что ж это она... — глупо подумал он. — Не приглашает?.. Дурак, — сказал он себе, — ведь она обо мне тоже так, наверно, думает... А может, она тоже не умеет? — вдруг осенило его. — Дурак, — сказал он себе, — зачем же она тогда пришла на танцы?.. А сам ты зачем пришел?..»

И он вдруг, не решаясь и сам того не заметив, шел к ней и спохватился только, когда стоял рядом, лицом к лицу, а первая фраза так и не была еще продумана, и он вдруг сказал:

— А вы почему не танцуете?

— А вы? — сказала она, и теперь ему нравилось в ней все — и голос тоже.

— А я не умею, — сказал он.

— А я не хочу.

— Тогда попробуем, — сказал он, — из нас выйдет отличная пара.

Она засмеялась и шагнула навстречу.

Кирилл удивлялся и не мог понять той странной легкости, которую ощущал сейчас во всем теле, и в голове, и в собственных словах, и даже в душном и спертом воздухе зала.

— Вот, — говорил он, кое-как переступая и почему-то не мучаясь этим, — танцую... Подумать только. Впервые в жизни.

— Что вы, вы совсем не так уж плохо танцуете, — говорила она.

— Вот видите... — говорил он, наступая ей на ногу.

— Пустяки, — говорила она.

Потом он толкался с номерками, протискивался назад, в обнимку с пальто, ничего не видя перед собой, подавал пальто даме. . .

— А ты неплохо принялся за дело! — услышал он сзади одобрительный Мишкин шепот.

— Да уж... — сказал он польщенный.

Он думал, что Мишка шепнет и пройдет мимо — это было так очевидно, но Мишка встал с ним рядом и продолжал так стоять. Молча, чуть

склонив голову набок, он рассматривал его даму, он смотрел ей в глаза, и она, кажется, ничего не имела против.

— Знакомьтесь. Валя, моя подруга, — услышал он.

«Ну вот, еще и подруга...» — подумал Кирилл в отчаянии. Он пожал чью-то руку и не понял, чью. И вдруг увидел, что Мишка тоже подал руку следом.

«Эт-то что еще такое!» — чуть не выговорил Кирилл вслух.

— Кирилл, познакомь же меня со своей дамой! — услышал он Мишкин голос, и то, что эта фраза, хотя и содержащая его имя, явно предназначалась не ему, а прямо ей, эта черт знает какая, совсем не Мишкина интонация окончательно возмутила его.

— А я и сам незнаком! — зло сказал Кирилл.

— Действительно, — нежным и, Кириллу показалось, тоже не своим голосом сказала она, — мы ведь даже не узнали, как зовут друг друга... — Люся, — сказала она и протянула Мишке руку.

— Михаил, — сказал Мишка.

— Кирилл, — мрачно добавил Кирилл.

А Мишка все стоял, так же чуть склонив голову набок, и молча смотрел в глаза его даме, теперь Люсе, таким мутным и невыразимым взглядом, что Кирилл чуть поташнивало. Но самое непонятное было то, что Люсю этот взгляд не раздражал.

Какая-то девушка стояла рядом, словно поджидая Люсю, пока та снимала свои «гвоздики», надевала свои румынки, заворачивала туфли в газету. Эта девушка смотрела насмешливо то на него, то на Люсю, то на Мишку, то снова на него. «Подруга... — вспомнил Кирилл. — Этой-то что здесь надо!» — неприязненно подумал он.

— Уходи, слышишь! — страшным шепотом сказал он Мишке.

Тот пожал плечами и раскланялся.

Они вышли, и подруга как-то незаметно исчезла. Но только Кирилл снова начал ощущать ту царственную уверенность и легкость, что так внезапно объявилась в нем сегодня, как Люся вдруг заторопилась куда-то, взгляд и голос ее потухли, стали безучастны. Да вот, ей надо срочно на дежурство... да, в ночь... она же работает в больнице... Нет, не надо ее провожать... Так вот — не надо... Ладно, завтра... Где? Да все равно где, только, если он так долго будет думать, она опоздает... ну, раз так, пусть зайдет за ней домой...

И она сказала ему адрес, а сама уже бежала куда-то и растаяла, назвав номер квартиры.

Он неуверенно помахал ей вслед.

Проснулся поздно. Ребят никого в комнате не было. «Это хорошо, — подумал он, — это хорошо...» Тело его еще дремало, сладкая слабость была в каждой мышце. «А почему я не на смене? — спросил он себя. — А потому что воскресенье, — ответил он себе. — А почему это наконец я один в комнате? А потому что все они ушли на футбол. А к чему мне футбол? А мне футбол ни к чему. А что я сегодня должен сделать? А ни черта!» И он улыбался сам себе.

Что-то вспомнил и тотчас забыл. Ни о чем не думал — так, лежал...

— У меня сегодня свидание, — вдруг сказал он.

«Ну да, конечно, свидание... Ах ты черт!» — спохватился он и вскочил с кровати. Но нет, он не опаздывал. Времени оставалось еще много.

— Надо действовать... надо действовать... — повторял он, хватая то брюки, то графин с водой, то газету. Неизвестно откуда взявшаяся энергия распирала его. Так он носился без толку, пока не поймал себя на этом. «Начну с зарядки», — постановил он. Когда-то надо ведь и начать ее делать...

Он принялся за первое упражнение — и тут вошел Мишка.

— Привет! — сказал он. — Что это ты делаешь?

Кирилл сделал вид, что руки он расставил лишь для того, чтобы потянуться, и сказал:

— Да вот, только проснулся...

— А... — сказал Мишка и упал на свою кровать.

«Вот ведь гад, все испортил! — подумал Кирилл и тоже повалился на кровать. — Ладно, подожду, пока он уйдет...»

Они лежали на своих кроватях, и Мишка не уходил.

— Послушай, Кирюха, — сказал вдруг Мишка, — ты бы не мог одолжить мне свои брюки на сегодня?

- Что так вдруг? — удивился Кирилл.
- Да вот, понимаешь, свидание у меня...
- А, — сказал Кирилл, — тогда другое дело.

Бери.

Мишка вскочил и стал поспешно переодеваться.

«Что это я? — спохватился Кирилл. — У меня ведь тоже свидание!»

Но Мишки уже не было.

Настроение было подпорчено. «Подумаешь, — утешал он себя, — у него брюки не хуже».

Чтобы снова мобилизоваться, он вырвал листок и написал на нем следующее:

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ

1. Разминка по утрам (купить эспандер)
2. Пробежки, прогулки в горы
3. Ходить на озеро купаться (каждый день)
4. Бросить курить (зачеркнуто)
5. Писать домой (каждую неделю)
6. Заняться английским
7. Дочитать «Войну и мир»
8. . . .

«Восьмое... — думал Кирилл. — Что же восьмое?»

И никак не мог придумать.

Тут все вернулись с футбола, вернулись с победой, и поскольку Генка-вратарь, герой дня, задержавший сегодня два одиннадцатиметровых, жил вместе с Кириллом, комната набилась битком и поднялся такой дым и гвалт, что Кирилл забыл все пункты своего плана. Он сидел, стиснутый со

всех сторон, и ему казалось, что сюда переместился стадион.

Он вдруг подумал, что лучше сидел бы он сейчас на бревнышке с работягами в ожидании начала смены. Он тихо встал, в коридоре ему удалось одеться и стал спускаться в подвал: там жил Сенька-младший, из его смены.

— А, Кирюша! — как всегда восторженно закричал Сенька. — Что ж ты к нам редко заходишь?

Сенька-младший был начищен с головы до ног. Его приятель завязывал ему галстук большим голубым узлом.

— Там у нас пол моют, — почему-то сказал Кирилл.

— Моют? Так ты посиди. А мы пойдем. Нам тут с корешом сходить надо, — он подтолкнул приятеля локтем в бок и хохотнул. — А то пошли с нами. А то лучше посиди тут. Вот ключ. Спрячешь под коврик.

Ушли. Кирилл присел на кровать. В окошке подвала проходили безголовые люди: головы им отрезало верхним краем окна. «Если я их не вижу, то и они меня не видят... — подумал он, глядя в окошко, и усмехнулся. — Кажется, появилась возможность закончить зарядку...»

— А почему бы и нет? — сказал он, подумав.

Отворил окно, разделся и приступил. Раз-два! — теплота разливалась по телу. Раз-два! — только суставы похрустывали.

«Здорово! — бодро думал Кирилл. — Главное в любом деле — начать».

Приседание — раз-два! раз-два! Присядешь — к прохожим прирастают головы. Встанешь — снова нет голов.

Двое пьяных заглянули в окно. Один чуть не свалился от восторга: Он поймал руками наличник и удержался. Голова его проскочила в комнату. Он бессмысленно уставился на раздетого Кирилла, вращающего руками. Повращал глазами, следя.

— Надо же! — удивился он. — Какой спорт занимается!

— Вот, Ваня, как надо жить по режиму! — сказал другой, вытащил Ваню из окна, и они ушли, шатаясь.

Кирилл мужественно продолжал упражнения.

Раз! Раз! — выкидывал он как можно выше ноги.

— Смотри, смотри! — кричала девчушка лет девяти. — Дяденька голый-голый!... Смотри! — подзывала она.

Откуда их столько! Им и нагибаться не надо, чтобы видеть...

— Дяденька голый! Голый, голый! — кричали они все.

Кирилл захлопнул окно. Дети прижались к стеклу. Расплющились их носы.

— Голо-голо-лого-ло... — сливались их голоса.

— Тьфу, пропасть! — сказал Кирилл, и зарядка была окончена.

Он решил, что сегодня уже поздно, и вообще воскресенье, и лучше он начнет выполнять свой план завтра.

Замок прокрякал, дверь отворилась — и это была не Люся.

— Ее нет дома, — сказала женщина, вся в черном.

— А где же она? — удивился Кирилл.

— Она ушла в магазин, — сказала женщина, затворяя дверь.

Чтобы не пропустить Люсю, он уселся на скамейку напротив ее парадной и принялся грызть травинку с безразличным видом. «Странное дело... — размышлял он. — Как ни глянешь — всё пары, пары, все — парами... А когда появляешься ты, оказывается, что никого-то у нее нет. И умная, и красивая — и никого-то не оказывается; можно подумать, только тебя и дожидалась... И все так просто складывается, что она только что об этом тоже думала, и как он это правильно сказал, а он — какое совпадение! — любит, оказывается, те же фильмы и книги, что и она, а она — что он... И куда только девается тот, предыдущий «он», который любил что-то другое?»

Прошло пять минут, пятнадцать, и полчаса. Люся не появлялась. Умные мысли пропали.

«Тут всего-то два магазина поблизости», — подумал он и встал. Он зашел в один, но там не было Люси. Во втором ее тоже не было.

«Если мы и разминувшись, то только сейчас, когда я бегал по магазинам», — думал Кирилл, снова поднимаясь по лестнице.

Открыла та же черная женщина.

— Люся пришла?

— Пришла и ушла с подругой.

— Куда же? — опешил Кирилл.

— Откуда я знаю? — сказала женщина. —

В кино.

«Когда же это она успела? — недоумевал Кирилл, спускаясь. — Черт знает что! Не очень-то и хотелось...» — успокаивал он себя.

Он очень удивился, обнаружив себя в фойе кинотеатра. Он ведь и не собирался в кино и не подумал ни разу ни о чем подобном. А вот стоит в фойе и словно ищет кого-то.

И действительно, в углу, около кадки с пальмой, он увидел Люсю с подругой. Она разговаривала с каким-то парнем, смеялась и не замечала Кирилла. Парень стоял к нему спиной. Кириллу никак не пришло бы в голову, что это Мишка, если бы он не узнал свои брюки.

— Ну и дела! — пробормотал он.

Он подошел к ним вплотную и остановился молча. Обвел всех испытующим, холодным взглядом.

— Что ж ты брюки-то мои надел? — сказал он и сам удивился.

— Да вот, понимаешь, — Мишка был слегка

смущен, — прихожу я сюда — вдруг вижу: знакомые лица... А тут сразу и ты подходишь.

— Да? — сказал Кирилл.

Мишка промолчал. Люся стояла, глядя мимо, с каменным лицом. Подруга, как показалось Кириллу, отвернулась, чтобы улыбнуться.

«Какого дурака из меня делают!..» — подумал он больше с удивлением, чем с обидой.

Всех выручил звонок.

Девушки прошли вперед, а Кирилл с Мишкой отстали.

— Да, положеньице... — сказал Кирилл.

Мишка промолчал.

Зал был полон. «Сейчас-то все встанет на свои места, — подумал Кирилл, — все встанет на свои места, когда все займут свои места... Да... Интересно, как он будет выкручиваться теперь, когда мест свободных нет, а его место рядом с ними?..»

И действительно, место рядом с девушками пустовало, а Мишка обшаривал глазами зал и не находил себе другого.

— Ладно, — сказал Кирилл, — садись на мое. — И сунул ему билет. Когда он пробрался и сел рядом с девушками, погас свет.

«Ну и как вы все это понимаете? — хотел сказать он. — Ай-яй-яй...» — хотел сказать он, но не сказал.

Люся молчала, словно ничего не заметив.

Картина была мексиканской.

На экране уже стреляли.

Загнав трех лошадей и разрядив многократно свой многозарядный пистолет, поцеловав в заключение очаровательную блондинку, Кирилл вышел из зала небрежной походкой на своих длинных, чуть полусогнутых ногах. С особой значительностью закурил сигарету (яркая вспышка спички выхватила из темноты его резкие, мужественные черты лица). Взгляд его был устремлен немного вдаль и мимо выходявших зрителей, усталый такой взгляд (все видели это надолго запоминающееся лицо). Ботинки впечатывались в тротуар с неумолимостью крупного плана.

Не вынимая сигареты изо рта, он посмотрел на Люсю снисходительным и лукавым взглядом киногероя.

— Ну как? — сказал он небрежно.

— А, это вы?.. — как бы совсем о нем забыв, сказала Люся и холодно улыбнулась ему скользящей, светской улыбкой, показавшейся Кириллу глуповатой. Она шла рядом, но так, словно Кирилл случайно оказался с ней рядом, а вообще-то он ей не пара.

— Понравилось? — спросил он.

— Ничего, — сказала она, будто просто так получилось, что она отвечает...

И тогда он увидел в витрине свое отражение, нелепо согнутые ноги и оттянувшиеся на коленях брюки, увидел и поморщился. Брюки были Мишкины. От воспоминания о Мишке — чуть не зарычал. «Он у меня схлопочет...» — грозно подумал Кирилл.

Подруга шла, несколько отстранившись от них обоих, помахивала сумочкой и поглядывала на них насмешливо. Этот быстренький, исподтишка, ловкий взгляд смущал Кирилла: выскочит, увидит все, что надо, и снова спрячется.

«А эта ехидна чего увязалась?» — кисло подумал Кирилл.

Шли молча. Шли рядом. Исчезли бары. Ускакали норовистые лошади. Удалились тонконогие брюнеты, длинноволосые блондинки. Прошли «Пиво — воды», проползла пузатая кобылка, шли ширококостные парни в кепочках. Люся шла так же независимо, словно он, Кирилл, тут случайно. «Глупа, глупа...» — говорил себе Кирилл, как бы покачивая головой. Надо было говорить о чем-то, и было совершенно не о чем. И что он плетется тут рядом, унижается, давно бы плюнул и ушел...

Но он не уходил. Он все шел и шел с Люсей.

Подруга, как ему вдруг показалось, тоже злилась.

«Ну ты-то что тут? Хоть бы ушла куда-нибудь!» — взмолился про себя Кирилл, чувствуя неловкость еще и оттого, что кто-то все это его унижение близко видит.

«Но ведь Мишка-то не пошел с нами? Может, действительно совпадение?» — успокаивал он себя. А в голове крутилось: «Вот вчера ушла, а сейчас не уходит. Почему-то, когда все в порядке, подруги всегда исчезают. Незаметно так исчезают... Оставляют, так сказать, маедине. А тут вот идет и идет».

Но, может, и Мишка ни при чем. И все это ему сейчас только кажется? Надо бы все выяснить, чтоб зря не унижаться. . .

— А я уж не надеялся вас встретить. Вы неуловимы. . . — выпалил он наконец давно приготовленную фразу.

Люся словно не слышала.

Подруга усмехнулась.

Слова бессмысленно повисли в воздухе. Повисели. . .

— Почему же — неуловима? — наконец сказала она.

— А я сегодня заходил к вам — вас нет. Второй раз — нет. Мне уже стало неудобно перед этой черной женщиной, что отворяла мне. . .

— Действительно, неудобно, — выронила Люся.

— Что ж было делать. . .

— Зачем зря ходить.

— Как — зря?

Люся пожала плечами.

Подруга вдруг фыркнула, выстрелила непонятным своим взглядом и побежала через дорогу, во все стороны размахивая сумкой, не оглядываясь.

— Что это с ней? — Кирилл так удивился, что даже слегка забыл про свою досаду.

— Обыкновенно — что, — сказала Люся.

— Как это обыкновенно — что? . .

Люся его не услышала.

— Это ваше общежитие? — вдруг спросила она с интересом.

И действительно... А он и не заметил, где они.
— Да, — сказал он, обрадовавшись ее интересу. — А вон мое окно... — показал он.

— А этот мальчик — высокий такой — на танцах с нами знакомился... его, кажется, Мишей зовут?

— Да, — холодно сказал Кирилл.

— А он с вами живет?

— Кто?

— Миша.

— Да.

— А где ваше окно, я не разглядела?

И Кириллу стало вовсе неудобно. Ему казалось, что он идет, словно забегая, как собачонка, вперед, заискивая, виляя хвостом и заглядывая в глаза. И забегает, забегает, а его всё не замечают, не замечают... И ему казалось, что все это видят, как он забегает и как его не замечают.

Вдруг чья-то рука легла Кириллу на плечо. Кирилл вздрогнул и обернулся. Огромный парень с бандитским лицом стоял сзади. И рядом с ним еще двое больших парней.

«Вот-те на... — подумал Кирилл. — Еще и прирежут за нее. Было бы хоть за что...» Но он, к удивлению своему, не только не испугался, а даже обрадовался, что вот отвлекли его от беспомощной ходьбы сбоку и ощущения, что он ни при чем. Выходит, не такими уж посторонними друг другу выглядели они со стороны, как ему казалось, если вон даже приревновали и толковище предстоит...

Все это, только в едином ощущении, промельк-

нуло в голове Кирилла, пока рука парня лежала на его плече, пока он спокойно говорил Люсе: «Я вас нагоню сейчас», пока все в нем напряглось и он ощутил ловкость, и силу, и способность нанести ослепляющий кинематографический удар, одновременно сделав подножку второму и опрокинув ударом головы третьего.

Парень снял руку.

Наклонился и тихим, доверительным и извиняющимся голосом сказал:

— У вас сзади — белое...

Кирилл не сразу понял.

— Мы шли сзади, и я подумал... что вот вы сзади испачкались... что вы с девушкой... так надо вам все-таки сказать... — окончательно смутился парень.

И Кирилл вспомнил, что действительно недавно Мишка уселся в этих брюках на крашенный подоконник, долго и безуспешно оттирал потом. «Недаром же Мишка выпрашивал сегодня у меня брюки», — подумал он.

Ему стало смешно. «Хороший парень! — подумал он. — Такая добродушная морда. И драться, выходит, не надо...» Ему захотелось сделать парню что-нибудь приятное или сказать, но он не знал что...

— Так это я знаю! — радостно смеясь, сказал он. — Знаю — но не оттирается... Да и брюки-то не мои, — почему-то объяснял он.

— А то я не знал... — проямлил парень. — Я думал — все-таки...

— Ничего. Спасибо! — крикнул Кирилл уже на бегу. Ему стало вдруг легко-легко.

Он бежал и удивлялся, что Люся так далеко зашла вперед. Он перешел на шаг. Он озирался по сторонам.

Но Люси не было.

Кирилл брел по улицам и заглядывал в глаза проходящим женщинам. «Что же это? Как же так? Что такое?!» — думал он, совсем уже сбитый с толку. Мысли были сильны и неопределенны. Их никак было не ухватить, не приблизить. Они проносились мимо как бы на больших скоростях, и возможно было лишь сделать порывистое движение им вслед, но догнать их уже было невозможно. Не было у него такого опыта.

Он увидел Люсину подругу. Он заметил ее издали — она же его не видела. Она шла навстречу, помахивая своей сумкой, независимо и гордо. Она показалась ему неожиданно высокой. Она шла и пристально смотрела куда-то вдаль, взгляд ее проходил над его головой.

Кирилл впервые видел ее без Люси и поэтому впервые как-то увидел. И удивился: ее было не узнать. «Выкрасилась она, что ли?» — подумал он. Этого быть, впрочем, не могло: когда бы она успела? И такая неприступность была на ее лице — это его поразило больше всего, никогда бы не рискнул подойти. «А она ничего...» — подумал он тогда. Куда это она спешит? Имя ее вдруг

вспомнил: не «подруга», как он все время называл ее про себя, а — Валя, Валентина.

Когда она подошла совсем уже близко, то вдруг взглянула ему в глаза своим особым взглядом, пристально и быстро. И тут же отвела. Глаза ее он тоже разглядел впервые, цвет их показался ему неожиданным, но он не успел понять, какого же они цвета.

— Привет, — небрежно сказала она и взмахнула сумкой.

— Здравствуйте, — сказал Кирилл, смутился и хотел было что-нибудь спросить: про Люсю, про все это, — но она прошла мимо.

Он посмотрел ей вслед, немного опешив, но она не оглянулась.

Он шел дальше, так же бесцельно. Те же невнятные чувства владели им. И снова плыли навстречу улочки и переулки, стандартные дома повторялись, как один нескончаемый дом, и шли навстречу женщины, несли свои сумки и авоськи с картошкой и булкой, и совсем молодые девочки несли свои лица. Они их именно несли, потому что лица их казались отдельными и независимыми от души, от тела, потому что их настоящие лица были другими, а эти рождались с усилием, с трудом и были кажущимися. Кирилл вглядывался в эти лица, и несложное соображение овладевало им: вдруг к какой-то из них можно подойти и заговорить, и что-то может начаться тогда; можно к этой, и к этой, и к этой. . . И все это невозможно. А вот — пары. И эта, и эта, и вот эта. Неужели у

всех у них любовь? Или — просто так? Репетиция? Примерка? И бывает ли это «простотак»? Нет, думал он, не бывает, хотя бы потому, что после «простотак» все должно быть очень непросто...

Так он шел и вдруг опять увидел Валю. Она стояла у большой витрины и слишком внимательно разглядывала гирлянду из копченых колбас. Он опять не узнавал ее. На этот раз она была невысокой и темноволосой, может, оттого, что стояла задрав голову и солнце било ему в глаза. Неприступной она не выглядела, а производила впечатление притворной, цепкой и что-то для себя выгадывающей. Она все стояла в неестественной своей позе, и это показалось ему подозрительным.

— Валя? — сказал он удивленно. — Что вы тут делаете?

— А, это вы... — скучающим голосом сказала она. — Привет.

— Привет, — сказал он и с некоторым недоумением замолчал.

— Вы не видели Люсю? — сказала она.

— Не видел, — сказал он. — А что, она где-нибудь тут?

— Не знаю, — сказала она, — мы с ней как-то потерялись.

— Я с ней тоже потерялся... — сказал он.

— Всё-то вы теряетесь... — сказала она.

— Как это?

— А так, что ничего у вас с ней не выйдет!

— А мне никто и не нужен! — рассердился Кирилл.

— Зачем вы говорите мне это? — с непонятной строгостью сказала Валя.

— Не знаю... — растерялся Кирилл. — Просто так.

— Ах, просто так!.. — Валя гордо вскинула голову. — Пока! — сказала она и вошла в магазин.

Кирилл потоптался немного в замешательстве и медленно побрел назад, к общежитию. «Чепуха какая-то...» — бормотал он.

А между тем навстречу шли женщины с авоськами и девочки с заманчивыми лицами, и что они все думали о себе, о любви, а главное, о нем, Кирилле, никак ему было не догадаться. А может, и ничего не думали. Но зачем же тогда эти девочки делают, проходя мимо, такие лица? Ему предназначенные?.. Для его волнения... Не ему — так кому же? Всем? Зачем же всем?..

И тогда он действительно обалдел. Наглость-то какая! Навстречу шли Мишка с Люсей, полностью поглощенные друг другом и не замечая ничего. Мишка вел Люсю под руку. Небрежно наклонив голову, с улыбкой обольстителя, он ронял ей в ухо неслышные слова, как будто опускал монетки в автомат. А она отвечала порциями смеха. Была она красивенькая и как бы механическая.

«Словно ей щекотно в ухе...» — подумал Кирилл, и тут ему потребовалось столько усилий, чтобы пройти мимо так же небрежно, так же не

глядя, так же их не заметив (а они так и не заметили его), что, когда миновал их, так устал — даже на злость сил не осталось.

Он шел и смотрел под ноги. Шаги были — раз, два, три... — усыпляющий ритм. Тек под ноги асфальт. Он и не заметил, как оказался у своего общежития. И тогда еще раз увидел Валю. Она сидела у самых дверей, на скамеечке для дворников, и не то сморкалась, не то всхлипывала. Была она на этот раз не высокая, не низкая — просто никакая, сама собой. Потерянная, что ли. Похожая на ромашку. «Хватит с меня этих фокусов!» — с раздражением подумал он и хотел проскочить мимо, но Валя вдруг подняла голову.

— Кирилл... — словно удивленно сказала она. — Как вы сюда попали?

— Это вы, — сердито сказал он, — как сюда попали?.. А я здесь живу. Вот это, если угодно, — мое общежитие... — И он широким жестом обвел здание, около которого сидела Валя.

Валя оглянулась и посмотрела на общежитие.

— Надо же, — сказала она как ни в чем не бывало, — какое совпадение!.. — Кирилл нетерпеливо поставил ногу на ступеньку и взялся за ручку двери. — А у меня несчастье! — торопливо сказала Валя.

— Какое же? — нехотя поинтересовался он.

— Понимаете... — Валя подняла к нему насторожившееся лицо. — Ключи от квартиры потеряла... Домой не попасть. Куда деваться — не знаю...

— Бывает, — равнодушно сказал Кирилл, — а вы сломайте замок или снимите дверь с петель.

— А я не умею... — И Валя всхлипнула, но взгляд ее, ждущий и любопытный, снова выдавал ее.

— Ладно, — сказал он, — придется вам помочь.

— Правда? — просияла Валя. — А то я не знаю, что делать, — сказала она и стала торопливо пудрить нос.

— Пошли, — сказал он. «Все равно от тебя не отделаешься...» — мысленно продолжил он, но вслух этого не сказал. Потому что вдруг улыбнулся — увидел солнце.

Они шли проулками между большими одинаковыми многоквартирными домами, расставленными широко и свободно. Их стены были рассечены солнцем на свет и тень косыми уверенными росчерками. И были дома оттого как-то особенно объемны, отдельны — геометрические тела. И воздух между ними, это просвеченное солнцем «ничего», тоже существовал отдельными геометрическими объемами — только прозрачными. Кирилл улыбнулся и то ли от этого, то ли от предстоящей и неясной ему еще работы разрушения дверей почувствовал себя бодрее, и в нем проснулось ощущение силы.

Дом, к которому привела его Валя, был вовсе не рядом с общежитием, хоть и недалеко. Кирилл вспомнил Валину фразу про «совпадение» и хмыкнул.

— Вот эта, — указала Валя на дверь, когда они поднялись на третий этаж.

— Так, — сказал Кирилл и деловито осмотрел дверь. Дверь была как дверь, и ключ не торчал в замочной скважине.

— Как же это вы его потеряли? — в нерешительности сказал Кирилл.

— Как? — сказала Валя, и лицо ее стало задумчивым. — Сначала открыла сумочку, и там был ключ, а потом открыла — и его там уже не было. А что, трудный замок, да? — спросила она будто с тревогой.

— Ерунда, — сказал тогда Кирилл. — Дайте мне что-нибудь тяжеленькое.

— Что же такое вам дать? .. — сказала Валя и стала рыться в своей сумке.

— Ну, ломик какой-нибудь...

— Ломика у меня нет, — сказала она серьезно и закрыла сумку. И не выдержала — рассмеялась.

На площадке ничего, кроме лампочки, не было. Кирилл подергал прут на лестничной решетке — тот не поддавался.

— Может, на дворе поискать? — сказала Валя.

Дом был заселен совсем недавно, и на дворе еще валялись доски, какие-то бочки и ящики и просто кучи строительного мусора. Они бродили между них, как грибники в лесу. Забытое ощущение проснулось в Кирилле на этом дворе... Он «вспомнил» этот двор. Неизвестность и неожидан-

ность на каждом шагу... Детское, таинственное ощущение двора.

Все вдруг показалось им ужасно смешным. Такого глупого смеха с Кириллом тоже давно не случалось и тоже с детства. Когда покажи палец — и это действительно смешно... Самое главное, что это на самом деле очень смешно, только взрослые не понимают уже этого.

— Нашла! — преувеличенно радостно вскрикивала Валя и протягивала ему кривой гвоздь. Он очень серьезно разглядывал его, нюхал, пробовал на зуб. И потом отбрасывал с важным видом.

— Не пойдет, — говорил он.

И тут они оба начинали хохотать до слез, тем более что перед этим, разыгрывая сцену, сдерживали этот смех, а смех как бы накапливался и подпирал, и удержать его не оставалось уже никакой мочи.

— Нашла! — вскрикивала Валя и протягивала ему сломанный детский совок.

И все повторялось снова.

Им уже грозило устать так смеяться, начать вымучивать смех, пытаясь продлить его, а потом вдруг посмотреть друг на друга холодными глазами отчуждения, и тогда Валя уверенно вытаскивала из-под большого ящика, куда никто не догадался бы заглянуть, самую подходящую для взлома железку.

— Так, — сказал Кирилл, снова разглядывая дверь, — с чего начать?.. — Растерянно он вертел в руках железку. Пока ее не было, все было так

просто... Можно было говорить, что ее нету, искать ее. Теперь все было сложнее: он не знал, что с ней делать. Что дверь он изуродует, ему было ясно, а вот откроет ли он ее? — С чего же начать? — тоскливо повторил он и с досады стукнул кулаком по почтовому ящику.

— Только не с него, — слабо улыбнулась Валя. Она смотрела то на дверь — с грустью, то по сторонам — опасливо: ей тоже было не по себе.

— Конечно, это конечно, — сказал он. И в отчаянии занес железку для удара. Валя сжалась и закрыла глаза. Кирилл опустил железку, так и не ударив. В нерешительности оглянулся на Валю. Она улыбалась ему ободряющей, вдохновляющей улыбкой: мол, все хорошо, продолжай, действуй. Улыбка получалась жалкой.

То ли замок был плохой, то ли она вообще не была заперта — дверь открылась с первого же удара и осталась в общем целой. Кирилл вздохнул то ли облегченно, то ли удовлетворенно и отошел в сторону.

— Всех и делов... — сказал он тоном мастера и стал отряхивать руки.

Валя, не скрывая радости и облегчения, ворвалась в квартиру. И когда она снова появилась в дверях, лицо ее было строгим и непроницаемым. Это была уже четвертая или пятая Валя за один день. Кирилл стоял на пороге, и уходить ему не хотелось. Поиски инструмента и работа по взлому так увлекли его и будто сблизили с Валею, что, когда дело было сделано, ему было уже неудобно

уходить отсюда в свое общежитское одиночество. И вообще, почему бы ему и не войти в эту чертову дверь, которую он открыл с такими переживаниями... Перемена в Вале взволновала его надвигающимся свеженьким разочарованием. Все-то он, дурак, обольщается...

— Вы, может быть, зайдете? — небрежно, словно нехотя, говорила Валя и робко смотрела на него.

— Отчего же, — так же небрежно говорил он, поспешно проходя в квартиру. — Можно и войти.

Это была однокомнатная квартирка. Когда дверь была прикрыта, оба окончательно потерялись. Валино лицо сделалось вовсе холодно и неприступно, а Кирилл, не зная куда себя деть, неожиданно для себя задвигался какими-то разбитными и шустрыми движениями, кстати и некстати похихатывая. Он обстоятельно осматривал квартиру, заглядывал в стенной шкаф и в ванную, которая одновременно была и туалетом, что-то сострил на этот счет и мучительно покраснел от этого, что и попытался скрыть, убежав на кухню. Валя молча и строго сопровождала его. Кирилл поймал себя на мысли, что даже не поинтересовался, живет ли она одна или с родителями, а все, что он увидел пока в квартире, содержалось в таком безукоризненном порядке, было так ослепительно вылизано, что явно указывало на существование мамы строгих правил.

Наконец все было уже осмотрено, и Вале ничего не оставалось, как пригласить Кирилла в

комнату. И если это было возможно — стать еще более непроницаемой и холодной, то, пройдя в комнату, Валя этого достигла. Кирилл тоже все больше сковывался.

Пропустив его вперед, она удалилась на кухню так поспешно, словно мысль остаться с ним наедине просто так, в комнате, и ничего, допустим, не делать была нарушением всех и всяческих приличий.

Оставшись один, Кирилл изучал комнату.

Самым главным в ней была кровать. Это чудо кондитерского искусства не могло принадлежать Вале.

Он перетрогал всех собачек на комодке, заглядывая им в дырявое дно: там ничего не было — просто пустота. Он нашел книги на этажерке, аккуратно расставленные по росту, но книг, на его взгляд, среди них не было. Он поместился наконец на краешке дивана и стал разглядывать висевший над ним коврик. Там мчалась тройка, уместив в своих санях толстого кучера и тощего господинчика в усах и цилиндре, в котором он не без удивления признал Гоголя. «Не так ли и ты, Русь...» — подумал он.

Он совсем уже изнемог, когда Валя появилась с чайником.

Они сидели напротив друг друга и пили чай с вареньем. Валя чинно отхлебывала из чашки, после каждого глотка тщательно помещала чашку на блюдце, строго глядела на эту чашку, и ничего больше не интересовало ее в этой комнате. Валя

молчала. Кирилл рассказал анекдот. Валя не улыбнулась. Кирилл рассердился: чего ей от меня нужно? Вот ведь привязалась... Он посмотрел на часы и поразился: был уже одиннадцатый час. «Может, она от этого такая? Оттого, что поздно? И действительно, чего я тут сижу?..» Но только он подумал так, как тут же поймал Валин взгляд, робкий и, как ему показалось, просящий, первый взгляд с тех пор, как он вошел в квартиру. «Может, поцеловать?» — подумал он. Он посмотрел на нее с этой точки зрения и вдруг обнаружил, что она ему нравится. «А что я теряю? Сейчас встану, подойду и поцелую!» — убеждал он себя. Но между ними помещался стол. Надо было вставать из-за стола, обходить его кругом. И Кирилл сидел, с трудом глотая постылый чай, и не вставал. Валя на той стороне стола вдруг перестала пить чай, напряглась и оцепенела со странной тревогой на лице. «Что же ты! — ругал себя Кирилл. — Подумаешь, стол. Вот был бы на твоём месте...» Воспоминание о Мишке подожгло его. Он резко встал. Путешествие кругом стола остудило его. Он замер, подойдя к Вале. Она сидела, все так же окаменев. «Чего боишься, дурак! — говорил себе Кирилл. — Сейчас обниму за плечи... — убеждал он себя, — потом...» И пока, от нерешимости, все это разлагалось в его мозгу на элементарные движения, чувство уходило и таяло, смысл его пропадал. Ощущение убегающего от него чувства пугало его — он восставал. Напрягал всю свою волю — рука была как деревянная, не слушалась. Замерла

в воздухе. И что-то надо было уже делать с рукой, раз она на полдороге.

И Кирилл донес свою руку до ее головы. Прикоснулся.

Рука по-прежнему не слушалась.

Он дернул тогда Валю за прядь и глупо рассмеялся.

И вдруг грохнула входная дверь, кто-то пронесся по коридору... Кирилл успел отскочить в угол комнаты, когда дверь распахнулась и в комнате оказалась молодая круглая женщина. Щеки у нее прыгали.

— Валечка! — вскрикнула она, прижимая к себе Валю. — Что случилось?! Валя.. — всхлипнула она. — Что же случилось? Говори скорей!

— Ничего, — сказала Валя, — ничего не случилось.

Такой ответ, казалось, удивил, если даже не огорчил милую женщину. Она растерянно обвела глазами комнату и остановилась на Кирилле. Он неподвижно стоял в углу. Она смотрела на него, близоруко щурясь. Кирилл неловко поклонился.

— Что это? — взвизгнула женщина.

— Успокойся, это Кирилл, — сказала Валя. — Можешь познакомиться.

Кирилл подошел, и женщина с опаской протянула руку.

— Клава, — сказала она и отдернула руку.

— Это моя сестра, — сказала Валя. — Выйди

на минутку, — сказала она Клаве и первая вышла из комнаты. Озираясь, Клава последовала за ней. Некоторое время Кирилл ничего не понимал. Возбужденные голоса доносились из кухни. Так и не поняв, он решил воспользоваться их отсутствием и улизнуть, и уже сделал первый шаг к двери, как в комнату снова ворвалась Клава. Лицо ее светилось.

— Спасибо вам! — Она схватила руку Кирилла и сжимала ее. — Спасибо! Вы это сделали для Вали, я понимаю... Но для Вали — значит, и для меня.

Кирилл обалдело пяtilся.

— Да что вы... — бормотал он. — Это было совсем нетрудно.

Валя за спиной Клавы делала ему какие-то отчаянные знаки. Она махала руками то на него, то на Клаву, прикладывала палец к губам — он ничего не понимал.

— Она у нас сирота, ее обидеть просто... — лопотала добрая женщина. — А вы... Нет, не все еще молодые люди так нахальны, как некоторые... Спасибо вам.

— Да это не я... И не за что... — отступал Кирилл. — Да что вы, право!

Валя, выйдя на середину комнаты, чтобы Кирилл ее лучше видел, изображала теперь целое сражение. Кирилл уже не слышал излиятий Клавы и ошалело следил за этой пантомимой. «Что же она ей наплела!..» — думал он.

Клава осеклась. Она пристально посмотрела

на стол, где по-прежнему стояли чайник и банка варенья, и вдруг засуетилась, закружила по комнате.

— Валька, что же ты! И не пригласила и не угостила! Дура! Разве так можно! Что он теперь о нас подумает... Да вы садитесь, садитесь! — потащила она Кирилла к столу. — Я сейчас, я мигом!

— Да нет, я пойду, — говорил Кирилл, — мне пора... Общежитие закроют...

— Не отпущу. Разве можно!.. — всплескивала она, снова увидев стол. — В банке! — сказала она, негодуя.

— Сидите тут и не смейте уходить! — приказала она и вылетела из комнаты, выдернув за собой Валю.

— Это уже слишком... — повторял Кирилл и покорно сидел на месте. Голова кружилась от неправдоподобия.

Через пять минут стола было не узнать. Какие-то невиданные грибки, огурцы, капуста, селедка появлялись с непонятной быстротой. Клаву он не успевал разглядеть: казалось, все появлялось само. Валя, подручная, заглядывала в комнату и глупо подмигивала ему.

Наконец Клава приостановилась в своем движении и придирчиво осмотрела стол.

— Картошка! Скоро у тебя будет готова картошка?

— Сейчас закипит, уже скоро, — сказала Валя, появляясь в дверях.

— Господи! — вскрикнула Клава. — Что ты за человек! У меня бы уже давно закипела! — И она вылетела на кухню.

— Пойдем, — сказала Валя и потянула его за руку, — я тебе что-то покажу!

Кирилл шел за ней, она не отпускала его руки, и он вдруг почувствовал себя счастливым. Она подвела его к распахантому стенному шкафу, которого он не заметил раньше. «Откуда он взялся?» — даже подумал он.

— Смотри! — сказала она.

Действительно, тут было на что посмотреть: столько банок с вареньем, соленьем, бутылок и бутылочек с настойками — и на каждой было помечено: «клубника отличная», или «смородина удовлетв.», или «опята светлые», и всюду стояла дата.

— Ничего у меня сестричка? — сказала Валя.

— Да, — сказал Кирилл, — это да...

Больше ему сказать было нечего. Но он сказал:

— И другая сестричка тоже ничего. Врунья, правда...

И поцеловал Валю. Валя убежала, а он прошел в комнату и расселся довольный, вспоминая последний Валин взгляд. Уж слишком он выдавал свою хозяйку... Словно жило в ней еще одно существо, и она его прятала, а оно снова и снова высывалось некстати, ждущее и любопытное.

— А вы попробуйте смородинной, — убеждала его Клава.

— Да нет, я лучше еще полынной, — говорил он, наливая себе новую стопку и подкладывая опять, — мне ваша полынная больно нравится...

— Я полынь эту нынче с родины привезла. Знаете, как у нас там хорошо!

— Уж раз такая водочка, то хорошо, — говорил он.

— Надо веточку в бутылку опустить — и все. Постоит — и готово, — говорила Клава. — Да вы кушайте, что же это вы совсем не кушаете? Селедочка вон мурманская, особая, такой вы и не ели никогда.

— Да уж я ем вовсю, — говорил он.

Клава убежала на кухню, и тогда Кирилл брал Валю за руку. В глазах у него стоял туман, а от прикосновения он балдел окончательно. Обалдев так, он тянулся за полынной.

— Не надо, Кирилл, — говорила Валя.

— Что ж — не надо? — говорил он и наливал.

Появлялась и подсаживалась Клава.

— Я одобряю Валин выбор, — говорила она, глядя в глаза Кириллу.

— Я тоже его одобряю, — говорил он и наливал смородинной.

— Надо только взять молодые листочки, засушить, а потом можно даже зимой настаивать, — говорила Клава.

— И смородинная не хуже полынной... — говорил он. — Но лучше полынной — ничего нет!

Слева сидела Валя — ее он любил, справа Клава — раскрасневшаяся, гладкая и чистая, как маринованный ею грибок, как вся ее комната, — она ему нравилась.

— Вот в Ленинграде ничего такого нет, — говорил он, — и самого Ленинграда тоже нет. Нет его — и все тут!

Клава выходила, и Кирилл тянул Валю к себе за руку. Валя ускользала, и он падал ей за спину.

— Не надо, не надо, — говорила Валя.

— А вот я еще выпью, раз не надо!.. — говорил он.

— Не смей! — говорила Валя.

Приходила Клава, приносила яичницу.

— Полынную пил, смородинную — пил, а вот змеиная у вас есть? — говорил Кирилл.

— Такой не бывает, — серьезно говорила Клава.

— Нет, бывает! Нет змеиной, придется опять смородинной!

Справа сидела Валя, слева — Клава. То есть наоборот: слева — Валя, справа... То есть нет... Клаву он любил. То есть нет, он любил, конечно, Валю, а Клава ему просто нравилась... То есть нет... Люсю он любил, но теперь — все, хватит. Валя нравилась ему, конечно, тоже, но еще больше он ненавидел Мишку.

— Вот погодите, он у меня еще попляшет! — кричал он.

Валю он, конечно, это навсегда, на всю жизнь,

но не так, как Клаву, Клава ведь это просто так, нравится и все, а Валя — другое дело, куда ей до Клавы...

Синий, зеленый, туман, и мычит. Веточку опустить — и готово. Но листочки — они тоже ничего... молоденькие...

Чье это колено? Клавино? Валино? Ну да ведь как можно. Люся ведь справа, а слева...

— Кирилл, прекрати! Тебе больше нельзя!

— Нет, можно.

— Может, вам хватит, а, Кирюша?

— Правильно, хватит. Только еще одну — и хватит... Вот эта вот, вон она, голубенькая!.. и хватит... Вот последняя, и всё...

И всё.

Рождение понедельника

Чертовски хотелось пить.

Он ходил по пустынным незнакомым залам, и воды нигде не было. По длинной слепой галерее он выскочил в какие-то странные улочки — узкие, крытые, и окна домов были заколочены.

А он стучал в окна и двери, и никто не открывал.

«Кто там?» — спросили наконец.

Он хотел крикнуть: «Воды!» — и не смог. Говорить было нечем.

«Кто там?» — спросили еще раз. А он продолжал стучать изо всех сил и не слышал собственных ударов, бился об дверь и ничего не мог сказать... И шаги удалились от двери.

«Что за бред! — подумал он в отчаянии. — Что за город?! Такого не может быть!..»

И проснулся.

Чертовски хотелось пить.

Он сидел в столовой. За столиками было полно людей, они молча пили чай, не выпуская стаканов из рук. Между столиками ходила девушка с большим чайником и подливала им в стаканы.

— Налейте и мне, — сказал он.

Она подняла чайник и стала лить прямо на стол. Лужа расплзлась по клеенке. Струйки бежали по свисающей клеенке вниз, на пол. Он не мог этого видеть.

— Дайте же мне стакан! — сказал он.

Она рассмеялась. И тогда он вдруг понял, что она и есть вода. И бросился к ней. Но она утекла у него из рук.

И проснулся.

Чертовски хотелось пить.

Он встал с постели, прошел по коридору в кухню. Наконец-то он не спал. Он — пил. Пил воду из-под крана, холодное молоко из холодильника, рассол и снова воду.

— Все-таки дом — это единственное место, где можно напиться! — благодарно сказал он.

«Но отчего же — дом?.. — подумал он недо-

уменно. — Я не могу быть дома, если я так далеко от него уехал...»

И проснулся.

А проснуться было вовсе скверно.

Чертовски хотелось пить.

В распахнутое окно входило солнечное небо, и от этого почему-то становилось стыдно.

«Где я, и что со мной? — задал он себе обычный в таких случаях вопрос. — Проснулся я наконец или нет?»

Но нет, он проснулся. Он понял это постепенно. Он увидел свою комнату в общежитии, но ребят уже не было. «Это хорошо, — машинально подумал он, — это хорошо...» Он лежал на своей кровати поверх одеяла, одетый и обутый.

Голова трещала. Она прямо раскалывалась, разламывалась. Он впервые ощутил точность этих глаголов, всегда казавшихся ему преувеличением.

Он сел на кровати. «Надо сосредоточиться, — сказал он себе. — Что же произошло?»

Вдруг он вспомнил желтую глиняную тарелку с опятами — и тогда поплыли, побежали, замелькали, все убыстряясь, путая очередность, воспоминания вчерашнего дня. Мишка — брюки, Мишка — Люся, Люся — Валя, Валя — дверь, Валя — Клава... Валя!

Он сидел на кровати и корчился. Он покачивался, закрыв лицо руками, и постанывал, как от зубной боли. Что же это он натворил!

А что же он натворил?

В этом не было ясности.

Полынная — смородинная, черт!

Но что же было потом? Как он очутился здесь?

Он подошел к зеркалу и посмотрел на себя с отвращением. Синяк под глазом уже не мог ни расстроить, ни удивить его. «Обо что это я навернулся?» — подумал он равнодушно.

И спросить было некого. Внезапно это дошло до него, что никого уже нет.

«Понедельник!..» — похолодел он.

Он взглянул на часы — он еще успевал на смену, если всё бегом, бегом...

Слоеный пирожок

В этот радостный солнечный день с утра пораньше под землю спустилось большое начальство. И так уж не повезло, что для осмотра оно выбрало именно их участок.

Начальство, конечно, заметило вопиющие недостатки и ничего после этого слушать не захотело, а сказало: чтоб сегодня же все было разгружено, и это уж ваше дело как, но чтоб было, а не будет — и то, сё, пятое, десятое.

То дни текут, как один, то — черт знает что!

В этот день на погрузке работали все, не только навалышки, как Кирилл и Коля, но и «белая кость»: крепильщики, бурильщики, даже взрывник Вася — главный лодырь.

День на день не приходится, — объясняли слу-

чившееся работяги. А если голова трещит, как ни разу в жизни, сил никаких и спать хочется?.. Такой работы Кирилл не видывал. Даже Коля, давно разучившийся замечать свой труд, сказал: придется сегодня попотеть. А Кириллу, после вчерашнего с мукой осиливавшему каждое свое движение, начинало казаться, что это и есть единственный рабочий день за все его время, а все прочие дни вспоминались ему бесконечным блаженным бездельем перекуров...

Под люк подается порожний вагон. Люковые забираются на полки и открывают заслон. Руда сыпется вниз, наполняет вагон, и тогда люковые опускают заслон, отсекают руду. И состав подвигается на один вагон вперед. И снова то же самое.

За каждый вагон все болеют, как на матче. Пронесет — не пронесет? Пока люковые крутятся наверху, на полках, все стоят внизу, задрав головы, и болеют.

Один вагон нагрузили — ничего, другой — ничего... И вдруг заслонку заело. Мучили они, мучили эту заслонку — и вдруг она выдернулась легко, как редиска... И руда хлынула. А заслонку никак не закрыть — опять заело. И засыпает уже люковых на полках. Они спрыгивают, испуганные, вниз. И все стоят теперь вместе и печально смотрят, как прет и прет руда: течет, брызжет серыми брызгами густая, похожая на цемент, каша и урчит, чавкает при этом. А иногда рычит звериным ревом, выдавливая из себя воздух.

Все стоят и смотрят. Когда же она остановится?! Сколько еще поднавалит всем работы?

И вот — все. Называется это все — «слоеный пирожок». Вагон засыпан — его и не видно. Между вагоном и стенами нет пространства. Состав схвачен посередине — ему уже не стронуться с места. Двумя серыми языками руда расползается в стороны. Медленно подползает к стоящим. Принимайся... Тут не справится никакая машина — тут лопата и руки.

Руки, руки! На что вы похожи... Кривые, тяжелые, набряклые. Не руки — клешни. В течение всего дня после смены не сжать в кулак, не распрямить в ладонь. Пойдешь на почту писать письмо — пальцы не держат пера. Вот она, та осторожность, с которой водят пером работяги... А в начале смены так больно сжимать черенок!.. Но работать надо — разработаешься. И руки не болят. И голова не трещит. И вчерашнее забывается. Забывается все. И откуда только все новые и новые силы берутся? Раз-два-три! Чирк-вшик-чмок! Чирк — всаживаешь лопату понизу, забираешь кашу. Разгибаешься, тяжелая лопата летит по кривой куда-то за плечо и за голову к соседнему пустому вагону. Вшик — шурша слетает с лопаты порода. Чмок — шлепается в вагон.

Чирк-вшик-чмок! Чирк-вшик-чмок!

Лопата — это большая ложка. Четверым розданы эти ложки. Они идут по двое с двух концов вагона, они идут четверо с четырех его углов; идут по двое навстречу друг другу, и одна пара не ви-

дит другой. Кирилл должен встретиться с Колей. И главное сейчас для него: осилить свою четверть не позже других. Если остальные раньше справятся с работой, то молча, не подавая вида, набросятся на его остатки. Надо как все. Надо поспеть.

Они идут навстречу. И не идут — стоят. Каждый шаг — вечность. Чирк — всаживаешь лопату под кучу, упираешься, налегаешь на нее всем телом, черенок — в пузо. И вот лопата вошла, но чавкающая масса не отдает лопату, засасывает. Раскачаешь, вырвешь — освободится от каши узкая полоска. Вот ты и ближе к встрече с Колей. Но пока поднимаешь лопату и сбрасываешь породу в вагонетку, пока опускаешь ее уже пустую — освобожденной полоски нет как нет: наползла, заполнила ее жидкая каша. И снова по тому же самому месту — чирк! — все тем же движением. Идут они, четверо, идут с четырех углов, не видят — только слышат друг друга. А каша все наползает на только что очищенное место. И ты — ни с места. И кажется, не сойтись им никогда! Никогда Кириллу так не приходилось... В голове стучит и путается. Жидкая каша возвращается и возвращается на место, словно и не ел ее. Когда это было?.. Молочные реки, кисельные берега! Интересно, съел он, Кирилл, за всю свою несознательную жизнь вагон каши? А теперь — расхлебывается?.. Большая каша.

Чирк-вшик-чмок! Чирк-вшик-чмок!

Раздеваешься, раздеваешься... Брезентуха,

ватник, свитер, фуфайка — все это лежит в куче поодаль. Кожу — не снять. А на стенках — лед.

Чирк-вщик-чмок! Это он заточен в пещеру. Монте-Кристо. Это он работает, десятилетиями не покладая рук. Выскребывает гвоздем по песчинке в день. Выбирается на волю... И вот она уже близка.

Уже почти ничего не осталось. Коля виден во весь рост. Небольшая кучка разделяет их. Кучка, за которой перекур — счастье. Но, черт, как медленно тает эта, уже никчемная, кучка! Но вот сошлись лопаты. Звякнули. Это Колина лопата. Все.

Свисток — и состав подается вперед.

«Вот теперь уже перекурю...» — расслабленно думает Кирилл — и все не может собраться с силами достать сигарету. Они сидят, четверо, на лопатах, лениво курят, даже разговора нет. Молча наблюдают погрузку, чуть ли не молятся, чтоб больше такого не было. И все идет благополучно. Этот люк проходит без затруднений. И следующий. И еще один. Слава богу. И вдруг снова — заело. Люковые виснут на рычаге, прыгают, крутятся, как мартышки, — и никак. Опять то же!.. Они, четверо, даже отвернулись с досады. Вдруг подкатывается мастер. Они, четверо, сидят, безразличные, курят, на него не смотрят: понимают — подошел не просто так, куда-нибудь послать хочет. А кому из них это сейчас надо?.. Сидят, курят, безразличные.

Кирилл не выдержал первый: поднял глаза на мастера. Это как в сказке: через первую ком-

нату иди — не оглядывайся, во вторую войдешь — счастье найдешь, а Иванушка-дурачок, конечно, оглянется и окаменеет, конечно. Поднял Кирилл глаза на мастера — а тот сразу к нему:

— Молодец, Кирюша! Ты сегодня хорошо работал. Небось стынешь теперь, разогревшись? Так и простудиться недолго. Поди-ка, помоги люковым, погрейся...

Мастер — всегда мастер... Даже Стрельников.

Кирилл встает разочарованно, вяло. И такое у него лицо — все на нем написано. Но что ж поделаешь... идет.

Люковые всё кувыркаются — ни с места.

Кирилл забрался на люк, взялся за рычаг... и как рванет со злости! Что-то хрустнуло — и серой, слепой массой ринулась мокрая руда, сорвав заслонку. Один люковой слетел вниз легко, как мячик, и встал внизу, коротенький, квадратный. А второй, длинный, двухметровый, отпрянул от рванувшейся на него массы, стукнулся башкой о балку. Каска его полетела вниз. Он, путаясь в своих длинных ногах, заслонял весь проход. Наконец вывалился. А Кирилл, шедший за ним, застрял прочно. Ноги его уже по колено в сером цементе. А из-под заслонки все прет и прет. Он пытается вытащить ногу, другую — напрасно. Он кричит. Ему кажется, он матерится, — внизу это звучит по-ребячьи, жалобно. А перед ним раскрытая черная пасть, из нее ползет на него серая каша и причавкивает при этом. А в памяти у него предыдущий «пирожок» — он доходил до кров-

ли... Кирилл кричит. Вот-вот его сбросит вниз, в вагон...

Вдруг раздался очень громкий чавк — и серая масса остановилась. Так тоже бывает. Но это не значит, что через секунду руда не рванется вниз. А если рванется, то уже всей массой. Кирилл смотрит на этот замерший на миг язык, готовый в любую секунду слизнуть его, — боится слово сказать, пошевелиться.

— Руби! Руби!! Ах... мать... мать... мать!!! — кричит внизу мастер, тонко, визгливо.

Все стоят — и тоже ни с места. Также загнипнотизированные. Также боятся. И вдруг все увидели лезущего наверх Колю.

Тихими, быстрыми движениями подобрался он к рычагу. Примерился к нему, рванул на себя. Со скрипом и громом заслонка упала вниз. Перерубила толстый серый язык. Все. И тогда это показалось всем внизу так просто, что никто и не вспомнил о своей нерешительности.

Кириллу помогли выбраться.

Измазанный, бледный, неверными шагами спустился он по лестнице вниз. Ноги были... ног словно не было.

— Подойди сюда, — как-то удивительно тихо сказал мастер.

Кирилл не слышал.

— П-падайди, кому говорю!! — заорал вдруг мастер и подошел сам.

— Что же ты,? — кричал он. —, где тебя делали! Ты же не значишь ничего,!

А я за тебя сидеть буду? — взвизгнул он и сорвался. Постоял секунду в растерянности, потупился и, круто развернувшись, ушел.

Собственно, и все. Больше такого не было. Нагруженный состав ушел. Сидели, курили, ждали порожняка. У Кирилла все еще подрагивали ноги. Чувствовал он себя погано. Он казался себе таким уж никчемным — опускались руки, и жить не хотелось. Что-то ощутил он вдруг в себе и подумал об этом так сильно, так беспощадно, что уже и неверно. Так же неверно, как если бы он не ощутил этого. И становилось обидно от своего бессилия...

«Ничего не значу... Уйду! Ну все к черту! Зачем мне это надо? Один раз чуть глыбой не придавило. Сейчас чуть не погребло... Третий раз не миновать. Зачем? Чтобы всякий на меня орал?.. Ничего не значу? А что я значу... действительно? Правда. Не значу...»

Тогда подсел Коля и сказал:

— Не переживай, Кирюша. Это он ведь так... Он к тебе хорошо относится. Сам понимаешь, отвечает он за тебя. Он сам тут внизу перенервничал... А ты не горюй. Поначалу без этого не обходится... А там научишься. Парень ты грамотный... А тут, понимаешь, просто-то просто, а иногда дело секунды. Успевать надо...

— Да что ему успевать? — буркнул Кнюпфер. — Он же временный.

— Я не временный! — обиделся Кирилл.

— А как же? Сегодня есть — завтра не будет...

— Да... — сказал кто-то. — Вот вернешься инженером — и крутиться так больше не будешь.

— Не вернусь я инженером! — совсем обиделся Кирилл.

— И то лучше... — сказал Кнюпфер. — В столице где-нибудь. Чего сюда возвращаться?

— Бросьте, — сказал Коля, — парень тут постоянно.

— Или, может быть, — сказал Кнюпфер, — он не со студентами приехал? И не с ними живет?

— Да не студент же я! — в отчаянии выкрикнул Кирилл.

— Как же не студент... А кто же ты?

— Меня выгнали, — сказал Кирилл с гордостью.

— Ну вот... и выгнали... — недовольно протянул Кнюпфер. — С чего бы это тебя выгнали? Или учиться хуже, чем вкалывать?

— Хуже, — сказал Кирилл.

— Не приставай к парню, — сказал Коля.

Понедельник — день тяжелый

Смена тянулась, тянулась... Каждая минута казалась бесконечной. И пролетела смена в один миг.

Чувствовал он себя теперь несравненно лучше. Ни похмелья, ни воспоминаний — только мыщечная пустота, которая, он уже знал, через час обернется бодростью и силой.

Он возвращался домой и думал о Коле — были это хорошие, прочные мысли, — думал с любовью.

Но когда вышел из автобуса и шел к общежитию, мысли другие, непрошенные, отгоняемые, все настойчивей досаждали ему. Вчерашний день мучительным комом накатывался на него, и не видел он той нити, за которую бы потянуть и размотать его весь... Пережить заново, исправить — но это было невозможно. Все было хорошо, и это он помнил, а потом было какое-то безобразие, и его было никак не вспомнить, оно не имело образа, было неуловимо и могло быть безгранично — это все больше пугало его.

«Расскажут хоть... — думал Кирилл, входя в общежитие. — Что со мной приключилось».

В вестибюле — зеркало. Глаз из синего превращался в черный, заметил он, отразившись.

Пробежал Брюнет с полотенцем через плечо.

— Привет! — сказал Кирилл, бодро вскинув руку.

«Что это у тебя с глазом? — спросит сейчас Брюнет, как бы не зная. — Ну, ты вчера был хоро-о-ш!» — скажет он с почтением.

Но Брюнет проскочил молча. Словно не заметив. Чуть ли не презрительно.

«К чему бы это... — подумал Кирилл. — Может, он меня не узнал из-за глаза?»

— Здравствуйте, тетя Вера, — сказал он.

— И не здоровайся со мной! — пропела тетя Вера. — И белья я тебе чистого не дам!

— Что это вы? — удивился Кирилл.

— Будто и не помнишь? Не прикидывайся. Пьяный, он всегда говорит, что не помнит, а сам лучше трезвого соображает.

— Да о чем это вы?!

— Знаю я вас, пьяниц... Еще ребятам спасибо скажи, что все так обошлось... Тьфу ты, да я ведь с тобой и разговаривать не хочу!

«Что за цирк?.. — недоумевал Кирилл, поднимаясь по лестнице. — Ничего не понимаю... Словно переселился куда, что-то потустороннее...»

Однако, хоть и мало что понимал, но, входя в свою комнату, чувствовал себя как-то неуверенно.

— Приве-ет! — сказал он и сам удивился, как это у него жалобно получилось.

Молчание. Все сидели, будто и не они только что хохотали над чем-то, когда Кирилл подходил к двери: опущенные такие, похоронные лица.

«Теперь-то они отыграются... — неопределенно подумал Кирилл. — Нельзя показывать им мою неуверенность, — решил он. — Может, я ни в чем и не виноват вовсе...»

— Что это вы приуныли? — Кирилл попробовал взять бодрый тон, но получилось и вовсе жалко.

«Отыграются...» — с тоской даже не подумал — почувствовал он. И замолчал, как подавился.

— Послушай, Кирилл, — сказал Мишка красивым, веским голосом, — ты с нами не заговаривай — мы с тобой все равно разговаривать не будем.

«У-у-у! — бессильно прогудело в Кирилле. — Знает ведь, что я не могу с ним при всех... Пользуется...»

— Послушай, Михаил, — сказал он, перерывчивая. — Послушайте, вы! К чему такая торжественность? Может, мне объяснит кто-нибудь, в чем дело?!

— Ты сам все великолепно знаешь, — сказал неколебимо Михаил. Он явно взял на себя миссию и роль. Остальные сидели, опустив носы, не встречая. — Ты сам все знаешь, а тебя мы просим перейти жить куда-нибудь в другое место. К своим работягам... Ты и так больше с ними, чем с нами.

«У-у-у! У-у-у! — В Кирилле все гудело от злости. — Почувствовал силу, гад!»

— И перейду! Давно собираюсь. Они хоть люди, а вы кто?.. Полуумки-полудурки. Да вы... да ты!.. Что ты стоишь! Да кто вы такие, на самом деле?! Чтоб на меня все это вываливать!.. Идиоты... — закончил он громким шепотом.

— Ты можешь нас оскорблять, — словно обрадовавшись, подхватил Мишка, — нас это несколько не трогает. Нам это безразлично. Но если ты хоть пальцем еще раз тронешь Виталика, будешь иметь дело со мной! — закончил он звонким, пионерским голосом.

«Зачем мне трогать Виталика?.. — удивился Кирилл. — Хоть и пальцем...» Еще он отметил про себя, что Мишка употребил неестественное,

ласковое «Виталик» вместо обычного «Виталька», — это тоже не могло быть просто так.

Он взглянул на «Виталика». Тот сидел, как обычно, рохлей, приоткрыв пухлые губы. Губы были даже пухлее обычного. И на скуле — синяк. Лицо хранило всегдашнее покорное выражение, но и какая-то неловкость, даже смущение проступали на нем.

— Он весит восемьдесят килограмм... — почему-то сказал Кирилл.

— Будешь иметь дело со мной! — так же звонко повторил Михаил.

— Ну и буду! — опять зашелся Кирилл. — Уж не побоюсь! Не напрашивайся... Мне с тобой расквитаться давно надо. Иуда...

— Я уже тебе сказал: ты можешь оскорблять нас сколько угодно — нам все равно. И разговаривать мы с тобой не будем.

«Ишь ты — мы!.. — кипел Кирилл. — Также мне — мы!» Он взглянул на кислого Витальку — тот потупился, и на Генку-вратаря — тот держался так, словно был и за Мишку и за Кирилла.

— А ведь разговариваешь? — как можно ехиднее сказал Кирилл. — Вон сколько наговорил!

— Не беспокойся, не будем. И ты переедешь в другую комнату. Мы с тобой жить не хотим.

Виталька покраснел и отвернулся. Генка-вратарь сделал вид, что ничего не слышал.

— Никуда я не перееду! Так бы переехал, а теперь расхотел. Общежитие не ваше... Хочу — перееду, хочу — не перееду. Мое право. Тер-

пите!.. — сказал Кирилл и бросился на кровать лицом вниз, корчась от досады.

Так он лежал и переваривал все, что не успел сказать. Слова обидные, меткие, смертельные бродили в нем и рвались наружу. Но было уже поздно говорить их... Все сидели, будто занимаясь своим делом, будто не замечая Кирилла. Виталька читал свою немецкую книгу. Генка-вратарь зашивал спортсменки. Мишка сохранял чистое и гордое выражение лица. Кирилл лежал и бесился, все полыхало в нем.

Так он лежал и вдруг поймал себя на том, что ни о чем уже не думает, а равнодушно наблюдает муху: она уселась на спинку его кровати и моется. В нем даже мелькнуло ощущение неловкости от того, что чувство, казавшееся ему столь сильным (он назвал его гневом), исчезло так быстро и незаметно. «Вот я и успокоился, — подумал он. — Да и стоят ли они того? Чтобы еще и переживать». Ощущение было даже приятным: свежий и невестомый, как бывает после слез. Только в горле стоял комок, как бывает тоже после слез. Расплывчатые, беловатые контуры комнаты стали четкими и цветными. «Странно, — подумал он, — все было белым... Недаром говорится — белая ярость...» Вышло так: только что было невыносимо — а теперь легче от этого. Словно всё — его неудачи сегодняшние, вчерашние — стекло всё и умножалось, разрасталось комом, взрывом, не имело выхода... И тут — ссора, как разрядка, заземление: облегчение и чуть ли не выход даже...

Но Мишка вел себя все-таки возмутительно. Он сказал что-то Генке-вратарю и громко и самостоятельно смеялся. Потом он принес чайник, достал хлеб и колбасу...

— Генка, Виталик! — громко сказал он. — Давайте чай пить.

«У-у-у! — опять загудело в Кирилле. — Начинается! Что же я, как крыса, да?! Жуй теперь тихонько в углу, да?..»

Кирилл полез под кровать и стал бессмысленно рыться в рюкзаке. Хотя прекрасно знал, что находить там уже нечего: еще вчера днем они с Мишкой съели последнюю банку... И вдруг — кто бы мог подумать! — еще одна. Действительно... сгущенка! Откуда бы? Впрочем, сегодня он уже ничему не удивлялся.

Он проколол банку и лежа посасывал, словно смакуя, — даже вкуса не разбирал. Он отставлял ее на стул, развернув этикеткой. Чтоб все видели.

Но Мишка тоже не сдавался. Не допив свой стакан, он вдруг начал раздеваться.

— Вот твои брюки!.. — презрительно сказал он, небрежно роняя их ему на кровать: мол, и прикасаться к ним противно.

«У-у-у!»

Чай был допит, и все снова занялись словно своими делами.

Генка-вратарь ушел на игру — не пропускать мячи в свои ворота.

Мишка долго плевал на щетку и тер свои ботинки.

— Ты куда? — грустно спросил Виталька, видно не желая оставаться один на один с Кириллом.

— Да все к ней же, — самодовольно сказал Мишка. — Она меня сегодня палтусом угощать будет. Уж больно мне палтуса хочется попробовать. А то уеду — и не буду знать, что это за палтус!..

«К кому это к ней?!» — вскричал мысленно Кирилл, и вчерашнее унижение воскресло в нем, свеженькое, а злость его утроилась.

А Мишка в нерешительности ходил по комнате, заметно нервничая. Ходил он в начищенных туфлях и в трусиках.

«А-а! — сообразил Кирилл. — Брючки-то твои на мне!..» Краем глаза, не поворачивая головы, Кирилл с удовольствием следил за голыми его ногами в блестящих туфлях: потоптались у его кровати и отошли...

«Неловко мелочным показаться... — удовлетворенно догадывался Кирилл. — Помучайся, помучайся...»

— Ты, Виталик, не бойся, он тебя не посмеет тронуть, — громко говорил тогда Мишка, как бы фехтуя с Кириллом и делая выпад.

«У-у-у! — уже привычно загудело в Кирилле. — У-у-убью!» И вдруг отчетливо понял, что на нем Мишкины штаны. Это было противно.

«Ты собираешься уходить? Тебе нужны штаны? Вот они... И сниму. Главное, спокойно так, холодно...» — репетировал про себя Кирилл.

«Снимай штаны! Нет, не так... Может, ты снимешь штаны?..» — репетировал Мишка.

Кирилл продолжал лежать, а Мишка подходил к шкафу и демонстративно доставал свои старые лыжные брюки.

— Да возьми ты свои штаны, успокойся! — сказал тогда Кирилл. И, быстро стянув их, бросил ему на кровать.

Но Мишка уже надел лыжные и ушел, хлопнув дверью.

«Вот болван!» — подумал Кирилл с тихим недоумением.

Тогда поднялся и Виталька. Зажав под мышкой свою немецкую книгу, он шел к дверям печально и медленно. В дверях приостановился в нерешительности, покраснел и наконец сказал:

— Я-то этого не хотел...

И вышел.

«Ну и денек с утра выдался!.. — подытожил Кирилл. — Одно слово — понедельник...»

«Да... — разбирался Кирилл. — Вот ведь как подло получается. Заслужил Мишка, а получил, выходит, Виталька. Я тоже получил. Не Виталька же мне синяк подставил?.. Тот же Мишка, наверно. А зачем это ему? Потому что сам свинья и самому неловко, а что поделать — не знает, не обучен. Вот так подло и получается: перед кем свинья — на того и злость. Глупо-то как все! Бойкот... Подпольные формы... А остальные, кто ни перед кем не виноват, и вовсе, выходит, ни рыба ни мясо: куда повернут, куда толкнут — и ладно. Генке, что ли, это надо? Нет. Ему бы гол сейчас не пропустить... Витальке? Выходит, и ему не надо,

сам признался. Так кому же это все надо? Мне, что ли?»

«Вот и хорошо, — думал он, чувствуя пока только облегчение и не чувствуя еще тоски. — Наконец-то я остался один. С ума можно сойти от такого сборища!.. Все ненастоящее. И не стоит пытаться приспособиться. Не получается — это и хорошо. Получилось бы — было бы вообще плохо. Все теперь развалилось — и слава богу. Дружбы и не было. Любви не вышло. Теперь я свободен. Ничто мне не мешает. Займусь-ка я делом. Давно пора. А то одни намерения, пункты плана... Жить пора!»

Побег.

Кирилл бежал по тропке в гору. Он бежал мимо последних домов. Они как бы тоже бежали с ним в гору, но всё отставали. Их становилось все меньше, и лишь одиночки еще взбегали вместе с Кириллом вверх. Он их нагонял. А потом и они отстали.

Старуха с вязанкой хвороста попалась ему навстречу. И поспешно отошла за обочину, как от грузовика.

Кирилл подбежал к стадиону. По полю сновали футболисты. Кирилл представил, как они сейчас на него вдруг посмотрят, а кто-нибудь приостановится и еще что-нибудь такое скажет... И он перешел на шаг.

Прошел, словно прогуливаясь, мимо поля. За

стадионом начинался городской лесопарк — место праздничных гуляний. Здесь росли полноценные, не полярные ели. Их догадались пощадить: строить ничего не стали, сделали парком. Тут Кирилл снова побежал.

Народу не было. Разноцветные фанерные сооружения — ларьки, грибы — выглядели странно в этом безлюдном лесу.

Ноги, сначала ватные, теперь стали резвыми и могли бежать так, что не хватало дыхания. Народу не было, и Кирилл не стеснялся: дышал громко, со стоном на выдохе. Крепкий пот бежал по лбу, и Кирилл смахивал его на бегу.

Бег был приятен и напоминал труд. Его ритм. И все уже происходит само собой: ноги выбрасываются по очереди вперед — сами, дыхание вырывается — само, и стон, и пот. Глаза смотрят под ноги, выбирают путь, а дорожка убегает под ноги — серая, ровная, будто едешь. Так можно бежать очень долго. Но слышались голоса. Женские.

Это была помеха, и Кириллу стало досадно.

Из-за поворота дорожки показались две девушки. Замолчали — смотрели на бегущего к ним Кирилла. Он незаметно смахнул пот со лба и побежал особенно упругими, длинными прыжками, а дыхание сделал таким легким и ровным; словно бежать ему ничего не стоило. Так бежать было много труднее — не хватало дыхания. Он хотел пробежать мимо, не обращая на девушек внимания, а там уж, миновав, отдышаться.

— Кирилл? .. — вдруг услышал он.

Он резко остановился, чуть не упав с разбегу. Это была Валя. Подруга — какая-то другая, не Люся — быстрыми шажками, чуть потупясь, прошла вперед. Валя молча и серьезно разглядывала Кирилла. Кирилл стоял перед ней, задыхаясь. Сердце стучало во все стороны, справляясь с внезапной переменой в работе. Даже если бы он знал те слова, которые следовало сейчас сказать, он не смог бы их выговорить — так он задохнулся. Мысль о том, что, ко всему, что было, он предстал сейчас перед Валею в таком распотрошенном виде, вовсе удручала его. И пока он справлялся с собой, Валя сказала:

— Что же это вы не зашли сегодня?

— Я... — начал было Кирилл, все еще глотая воздух и не понимая, что же ему сейчас: верить, не верить, извиняться или молчать. — Я... просто не мог.

— А Клава вас так ждала! .. — сказала Валя самым издевательским тоном, каким могла.

«Клава! .. Что же там было?!» — Кирилл похолодел и, рванув с места, пулей вылетел за поворот, все еще слыша Валин не то смех, не то плач.

Он путался в обрывках мыслей, тщетно пытаюсь хоть как-то выстроить их, пока работа бега снова не захватила его целиком. И тогда показались мальчишки. Замерли — сделали стойку. «Сейчас начнется...» — с испугом и смехом подумал Кирилл.

Поравнялись. Мальчишки испытующе на него посмотрели. Кирилл заискивающе полуулыбнулся им. И тогда мальчишки, словно уверившись в чем-то, побежали рядом:

— Дяденька, вы куда бежите? В Москву, да?

— В Ленинград, — поправил он.

— Дяденька, а дяденька, а вы от кого бежите?

— От себя, — сказал на бегу Кирилл.

— От себя! От себя! — повторяли мальчишки, не отставая.

— Вес сгоняете?

— Такой толстый, а бегаёт...

— Бедненький...

Кирилл не выдержал и бросился за ними. Они рассыпались, как сон.

И тут же снова они рядом. Назойливей, смелее. Стайка оводов:

— Дыши носом!

— Тяни носок!

— А ну, поднажми!

— Тяжеловоз!

— Бомбовоз!

Кирилл терпел, и им надоело. Отвалились по одному.

Лесопарк перешел в лес, а лес кончился. Начался спуск. Ноги снова бежали сами. Склон порос травой и становился все круче. Из долины дохнул холодный ветерок — приятно заполз под рубашку, остудил разгоряченное тело. Кирилл глотал тугой воздухом ветра.

Склон становился круче. Ноги бежали сами. Их уже трудно было сдерживать. Они не поспевали за падающим вниз телом — вот-вот и покажишься кубарем.

Но спуск кончился.

Показалась речка. И тропка плавно уходила вдоль нее, по ущелью, в горы. Из ущелья тянуло холодом. Кирилл бежал, сбавив скорость, переводя дух. Справа впереди показался заброшенный лагерь. Серые доски высокого длинного забора где провалились, где покосились. Забор убегал вдаль волнистой линией. И на высоком столбе — будка сквозила, как пустая глазница.

И все это осталось позади.

А впереди показались стреноженные лошади, серые и в яблоках. Щипали траву. Одна из лошадей посмотрела на Кирилла грустным, нервным глазом и тихонько заржала. Она беспомощно вздернула передние ноги и мелко шагнула.

У Кирилла остро и тревожно защемило сердце, как бывало, когда он слышал крик петуха. Ему стало словно неловко перед лошадью, что он бежит.

И он перешел на шаг.

Да и устал он тоже.

Он отошел от речки и, цепляясь за кривые кусты, вскарабкался в лоб на гребень. На гребне ветер крепко, зло надавал ему в грудь: ветру здесь было просторно. Впереди, прямо по гребню, была вершина. Она казалась совсем близкой и невысокой. А внизу рассыпался крохотными кубиками

город. И блюдце озера. И спички труб. А еще дальше, за озером — снова горы.

Кирилл полез вверх по гребню. Разработавшееся тело действовало отлично. Каждая мышца чувствовалась отдельно, чистая, звонкая, покорная. И все они были вместе — как часы.

Он шел быстро и долго, а когда посмотрел вперед — оставалось ровно столько же.

И так было несколько раз, что оставалось ровно столько же. Потом начались «вершины»: то, что он видел вершиной, оказывалось просто изгибом гребня, а впереди была снова — вершина.

Но в конце концов не осталось ничего.

Он стоял выше всего.

Он мог смотреть в любую сторону, и ровным счетом ничего не заслоняло ему взгляда.

А город совсем слился. А озеро — капля. А за теми горами — еще озера и еще горы. И все это — без конца. И направо — без конца. И налево — без конца. И вперед — без конца. И назад — без конца.

Кирилл стоял как бы немного внизу и смотрел на себя вверх: вот он стоит, красивый, на вершине, и ветер треплет его волосы, облегает его стройную, сильную фигуру, ударяет в широкую грудь, в открытое, мужественное, обветренное лицо. . .

А потом ему вдруг стало холодно. Ветер был совсем некстати, и от снежников веяло ледяным. А ноги одеревенели после отдыха.

Кирилл зашпешил вниз. Он спускался и спускался — этому не было конца. Под ногами подворачивались камни, выскользывали, цеплялись за

ноги. Ему уже не удавалось так уверенно находить место, куда ставить ногу, как это было при подъеме. Он пытался собрать себя, но каждый раз после нескольких уверенных шагов нога опять подворачивалась и тогда уже начинала дрожать, становилась неверной и снова подворачивалась. Это отнимало много сил, которых уже не было.

«Всякое неравновесие отнимает массу энергии... Главное — сохранять равновесие», — внушал себе Кирилл. Но это не помогало.

Потом он уже ничего не думал и не пытался себя собрать... Стучался о камни и не чувствовал ни боли, ни времени...

И вдруг очутился в общежитии. Оно показалось родным домом. Кирилл вспоминал все свое путешествие, и в воспоминании неприятный спуск сократился, его даже и вовсе не было, а было только ощущение силы и обновленности.

Ему хотелось поделиться. В коридоре он нашел Генку-вратаря. Генка, убедившись, что Мишки рядом нет, охотно нарушил бойкот, и они поговорили. И тогда Кирилл рассказал ему о том, как он поднялся вон на ту вершину и траверсом прошел еще четыре, и все это только за три часа! Кирилл подвел Генку к окну, за которым были светлые сумерки заполярной ночи, и обвел рукой полхребта...

Он лежал в кровати и улыбался, чувствуя свое тело отдыхающим, тонким, стройным, своим. И уснул с чувством, как на вершине, когда всё — впереди и ничто не заслоняет взгляда.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

**ТРАВА
И НЕБО**

Суббота и воскресенье

В эту субботу ребята уезжали домой.

Практика наконец кончилась, вечером — поезд. Предотъездное волнение охватило их. В это утро они просыпались рано, уже возбужденные. Хотя им не надо было спешить на работу. И это было тоже странно: в будний день не бежать на работу, — за два месяца возникла привычка. И теперь, возвращаясь к своей обычной жизни, они удивлялись возвращению даже больше, чем в свое время отъезду. И терялись от путаницы ощущений.

Если бы кто-нибудь увидел их сейчас и вспомнил их приезд и сравнил, то удивился бы: разные люди. Притихшие, настороженные перед неизвестным, они казались тогда куда скромнее, положительнее — ученые дети. Теперь же, освоившиеся и одновременно навсегда уезжающие, они казались смелы, разбитны, нахальны — шумны; во всяком случае, их было не узнать. И особенно обнажилась их временность здесь. Они уже не скрывали ее, а чуть ли не подчеркивали. Глядя на них, можно было понять и даже оправдать типовую нелюбовь постоянных к временным, старожилов к приезжим, опытных к новичкам, штатных к командировочным... За ребят было стыдно. Но никто уже не помнил их приезда и не сравнивал, всем казалось: они такие были всегда. Пожимали плечами — что ж, студенты...

Они бегали, суетились, доделывали какие-то последние дела. Seriously, «по-мужски» договаривались выпить. У них были деньги: полный расчет. Возможности, открывавшиеся им, казались беспредельными. Они, более привычные к разговорам о вине и женщинах, чем к вину и женщинам, рвались к практике. Десятки, шуршавшие, как ресторанные пальмы, беспокоили их воображение. Неопределенный и расплывчатый, но вечный образ — образ незнания — увлекал их радостями другой жизни и раздваивал их.

Кирилл, взявший отгул ради этого дня, тоже поднялся утром со всеми, тоже возбужденный. Он бегал и суетился, ничем не отличаясь от ребят. Он

тоже спешил сделать какие-то последние дела, то есть те, которые давно собирался сделать и никак не мог собраться, те дела, что всегда остаются невыполненными. Все в общежитии было пронизано ощущением последнего дня, и Кирилл поневоле ощущал всё, как все, и бегал. Но дела его все были пустяковые: написать письмо, отдать долг, купить чернила — они кончились.

Кириллу стало пусто. А ребята, эгоистичные в своей радости, поглощенные собой, забежали к нему в комнату, просили: вот я не успел, а ты остаешься, сходи к такому-то, передай, забери, вышли... Это тоже были пустяковые дела, но эти поручения где-то в глубине задевали Кирилла. «Конечно, конечно...» — соглашался он и тут же многое забывал. Он вдруг понял то, что ему было и с утра прекрасно известно: уезжают-то они — не он. Эти два месяца были как бы все тем же сегодняшним расставанием, только растянутым, постепенным. В течение этих двух месяцев он отдалялся и отделялся от них. И вот наконец происходит то, что не могло не произойти: расставание приобретало форму конкретную и окончательную. Это было концом неопределенности, промежуточности и должно было радовать его. Но не радовало. Он прощался не только с ребятами, и воспоминания одолевали его. Он думал о ребятах теперь лучше, нежнее, добрее, чем во все последнее время, когда он, стараясь определить себя в новой жизни, естественно думал о них жестче и жестче. Да и прощание есть прощание: доброта тут умест-

на и извечна. Прощаться трудно и с нелюбимым, потому что нелюбимое — твоя неудача, твое поражение. И все было бы очень просто, если бы он уезжал сейчас с ними...

С самого сегодняшнего утра ему не давало покоя ощущение чего-то очень важного, что стало необходимо и возможно понять только сейчас. Оно мелькнуло утром, как только он открыл глаза, и тотчас исчезло. Он постарался ухватить — выскользнуло. Оно показало свой гладкий край и скрылось. И потом весь день он старался вспомнить — что. И никак. Иногда ему казалось, что он снова видит этот гладкий край, он узнавал его, хотя еще и не знал, что же это такое, бросался к нему — но его уже не было. Утомительность и притягательность этой погони за мыслью, собственно, и была тем новым, что возникло в нем в это утро. Он думал, с трудом, непривычно, неловко, но все-таки думал. Вот-вот... Где-то на кончике языка... И никак. Потом ему вдруг показалось, что все, поймал. Он вытянулся на кровати, довольный. И когда через секунду решил повторить для себя, смакуя, — ее уже снова не было. На этом все и кончилось.

Подошел вечер. Дела были сделаны или были уже не сделаны, и все подступили вплотную к отвальной. Эта выпивка, так давно уже всеми в уме пережитая, разваливалась на глазах: слишком многого от нее ждали. Кирилл тем не менее обрадовался ее началу, потому что чувствовал себя все более одиноко и отдельно и ему хотелось раство-

риться в общей сутолоке. Думать больше не хотелось.

Они бегали в магазин и из магазина. Пели, ели, пили. Ходили стенками по улицам, задирали девиц и прохожих. И старались казаться гораздо более пьяными, чем были. И уже думали о себе в третьем лице, как они ничего уже не ждут от жизни, не обольщаются, как пьют они беспробудно уже целый месяц и пропадай всё, такие они люди. И прохожие удивлялись, на них глядя.

Кирилл пил и не пьянел, а потому никак не мог включиться в общее возбуждение и все смотрел со стороны, а это хоть и могло рисовать ему его самого в выгодном свете противопоставления, было прежде всего противоестественно и противно. Тогда он покидал их и возвращался в общежитие, где и лежал на своей кровати как бы в одинокой задумчивости.

Но вскоре все вернулись выпить снова. Видимо, первый хмель вышел, и им становилось все труднее выносить напряжение рисовки. И на этот раз они уже захмелели самым естественным образом. Им было уже не до рисовки, и оттого стали казаться они, хотя и пьяные, проще, цельней, природнее, что ли: просто дети, играют в выпивку. От одного этого становилось легче и смешнее. Кирилл прибодрился. Тут к нему подходил Мишка, вытягивал губы трубочкой — все лез целоваться с Кириллом. Тот отстранялся, а Мишка говорил, почему-то сохраняя губы трубочкой, от чего его

слова звучали с нелепым напором на «у», даже те, в которых «у» и не было:

— Ты, Кирюха, извини, если я что... Ты пойми, что очень тебя люблю и уважаю... Так что это все ничего... Ты пойми одно... Нашу дружбу никому не разрушить... А ты из-за Люськи, тоже друг...

Кириллу было неприятно вспоминать, хотя уже давно говорил он себе, что ему все равно и наплевать. Мишку он при всем желании уже не любил. И сейчас он терпеливо и даже ласково слушал его, а у самого чесались руки. Он ощущал в себе так и не состоявшийся удар, удар Мишкой заслуженный, но было уже слишком поздно. И он так и не ударил Мишку, а выпил с ним на брудершафт и не любил себя за это.

И вот все идут на вокзал. Рюкзаки, чемоданы и совсем уж бессвязные песни. И Кирилл еще раз понял, что он тут давно ни при чем. Среди нагруженных вещами ребят он шел налегке, порожняком. У него не было чемодана или рюкзака, потому что он его не собрал, потому что незачем ему было его собирать. Он шел со всеми — и опять один. И опять видел со стороны, но уже не столько ребят, сколько себя среди них. Ему стало сладко жалко себя и обидно. Оглянувшись с этим чувством по сторонам, он не встретил ничьего взгляда, кроме грустного Виталькиного. Кирилл ощутил какую-то общность свою с ним, чуть ли не родство... И тогда вспомнил, что не разговаривал с ним с того самого случая, когда Мишка устроил

свой бойкот. И это было странно, потому что он давно уже разговаривал с теми, на кого должен был быть обижен, а с Виталькой, перед которым и действительно был виноват, — нет. А с Виталькой и так никто не считается, он всегда на отшибе, вот и сейчас плетется отдельно и перед этим не веселился со всеми. Нагружен больше всех — мама у него заботливая, и ему тяжело. Кириллу вдруг захотелось сказать Витальке что-нибудь хорошее и нужное, и ему даже казалось теперь, что только тот и сможет его понять.

— Давай помогу, — сказал Кирилл.

Виталька отдал ему тюк и улыбнулся. Улыбка эта могла бы показаться жалкой, если бы не была такой осмысленной. Она как-то врезалась ему в память. У него все вертелось на языке то самое хорошее, что он хотел сказать, но никак было не пересилить себя, какую-то неловкость перед хорошими словами.

Так они и шли молча.

Он тащил тюк и поэтому как-то уже не отличался от остальных. Шел не один, с Виталькой. На какой-то недолгий миг Кирилл почувствовал себя поэтому не так тревожно.

Но вот и вокзал. И перрон. Уезжали из дому — уезжают домой. Кирилл отдал тюк Витальке. Кто-то с ужимками вытащил еще одну бутылку, припрятанную, — раздался неестественно-торжествующий вопль: всем было уже много и не хотелось. На перроне, всегда-то вызывавшем в Кирилле тревожное, неприкаянное ощущение, он почувство-

вал себя вовсе неважно. И тогда что-то враждебное, неприятное шевельнулось в нем против всех ребят. Он не любил их. Не любил несложную определенность их жизни завтра: дом, институт, волнения экзаменационных масштабов, сильные и никчемные. Он ощущал свое превосходство, чуть ли не силу, и живую неясность завтрашних дней.

— Кирюха! Езжай с нами! Мы всей группой деканат попросим...

Ненужность, формальность этих слов бесила его. Вот говорят просто так и сами не знают, что говорят, и все это глупо и бесчувственно, что они говорят, а говорят они так потому, что уезжают, а он остается. Им нечего сказать — вот и говорят. Может, ощущают его неудачником? И оттого сами кажутся себе удачливыми?.. «Зачем говорить, раз незачем?!» — возмущался Кирилл, и враждебность разрасталась в нем.

Проводник сказал: «Отходим», — и все, толкаясь, бросились к дверям. Кое-как влезли. А он, Кирилл, не толкался с ними, а стоял один. Он не имел к ним никакого отношения, вот в чем уже было дело.

Ребята высовывались, кричали:

— Пиши нам!

Где-то впереди шумел паровоз.

— Значит, остаешься?.. — тоже бессмысленная фраза повисла в воздухе и, повисев, помаячив, таяла.

А ведь все пожимали ему руки... И при этом

делали лица — такие уж нелепые! Этакое проникновение и участие... Кирилл пожимал им руки и обещал писать. Он вдруг с тоской подумал об истраченном отгуле: лучше бы он был сейчас на смене, потолковал бы с Колей, а отгул бы пригодился потом. Ему было приятно думать о своей смене, потому что он остается с этими людьми. «Они хотя бы лишнего не говорили...» — думал он, пожимая руки.

Виталька подошел к нему последним и сказал: — Я виноват перед тобой, извини...

Кирилл удивился, какое хорошее у него лицо, искреннее и грустное. Как это он не замечал этого раньше...

Раздался свисток. Поезд отчалил. Махали руками из окон. Неподалеку от себя Кирилл увидел Люсю, она всхлипывала. Мишка высовывался и махал. В Кирилле все мешалось, крутилось, прыгало. Обида, досада, сожаление, радость и облегчение... Он вдруг замахал руками, закричал что-то и побежал, крича и размахивая.

Поезд был уже далеко, и его не услышали.

Он поднимался от вокзала в город. Тапочки его утопали в мягкой пыли. Тут, в районе комбината, — всюду была пыль. Покрапал дождик и прошел, испещрив эту пыль.

Ветер качал редкие фонари. От фонаря до фонаря свет таял, и посередине между ними была совсем ночь. Ветер качал фонари, и широкие жел-

тые лепешки света раскачивались взад-вперед по дороге.

Вот и свалка покрышек, тоскливая как кладбище. На километры тянутся они, сваленные в кучи.

На душе было, как в детстве после слез, — легко-легко. Когда и то, из-за чего плакал, — в прошлом, и то, как плакал, — в прошлом. А впереди — приятная пустота. Только тает комок в горле и — легко-легко.

Кирилл подошел к переезду. Остановился и ждал, пока пройдет порожняк на комбинат, длинный состав. Когда подошла последняя платформа, Кирилл неожиданно для себя вспрыгнул на буфер — поехал на колбасе: давно он такого не делал. . . Буфер качался под ногами влево, вправо, и Кирилл, вместе с буфером, — влево, вправо. Ветер приятно продувал его. Стучали колеса. И в небе, в прорыве туч, загоралась звезда.

Заборы кончились, и слева светилось, густо поблескивая, озеро, а справа чернели огромной массой, словно прижимали состав к берегу, — горы. Ветер поднимался все сильнее, небо быстро очистилось, и высыпали звезды. Они горели ярко, колюче. Они никогда не горели так в Ленинграде. Буфер качался влево, вправо. Кирилла укачивало, баюкало.

. . .Обратно Кирилл шел пешком, устал, и ему опять стало грустно. Впрочем, грусть была детской и приятной. «Один, один. . .» — повторял он, и все в нем сладко ныло от жалости к себе.

Он возвращался в общежитие, но обнаружил себя несколько в стороне от него, у Валиного дома. Легко отыскал ее окна — они светились. «Либо она дома, либо Клава, либо они вместе...» — привычно перебрал он варианты и, как всегда, не решил этой задачи. И если раньше это его останавливало, то сегодня он уже поднимался по лестнице. «Раз уж оказался рядом, то зайду...» — говорил он себе, словно бы раньше никогда не оказывался рядом.

Открыла ему Валя. В этом ему повезло. Но как все повернется дальше, он не представлял. Он тупо стоял в дверях и не знал, с чего начать. Валино лицо вспыхнуло и погасло.

— Вам кого? — сказала она.

— Мне Валю, — сказал он.

— Неужели? — сказала она. В голосе ее были радость и обида, смущение и насмешка, согласие и желание помучить.

Кирилл молчал.

— Проходи, — сказала она.

Клавы дома не было. И в этом ему повезло.

Они сидели напротив, разделенные столом, как тогда. Кирилл выдергивал из скатерти красные нитки. Слова пересыпались в его голове, как билеты в ящичке лотерейщика, и ему никак не удавалось остановить свой выбор ни на одном. Выигрышных слов не находил.

Валя, как всегда, оказалась смелее.

— Уехали, значит? — сказала она.

— Уехали, — с облегчением сказал Кирилл.

Валя была молодец, Валя всё поняла — и он посмотрел на нее с благодарностью.

— Вот и хорошо, — сказала Валя.

— Правда? — обрадовался Кирилл. — Ты умница.

— Теперь тебе ничто не мешает?

— Мешает, мешает! — обиделся Кирилл. — Ничто мне не мешает...

И замолчал. Выдернул еще нитку, на этот раз зеленую.

— Поехали завтра на реку? — сказал он вдруг.

— На какую на реку? — удивилась Валя.

— На реку, на Индру, — нетерпеливо сказал Кирилл. — Ну, поехали или нет?

— Ой! — обрадовалась Валя. — А с кем?

— Со мной.

— Вот здорово! — сказала Валя. — Конечно, поехали.

— Только я еду рыбу ловить, — сказал он.

— Конечно, рыбу, — сказала Валя сердито, — а ты что думал?

— Это ты думала.

— Нет, ты!

— Господи! — воскликнул он. — О чем речь? Мы оба не думали об этом. Ну, так собирайся.

— Как? Сейчас?

— Конечно, сейчас. А ты когда думала? Пока доберемся... Ловить надо на рассвете, — сказал он серьезно.

Валя задумалась.

— Ну, так я один поеду, — сказал он.

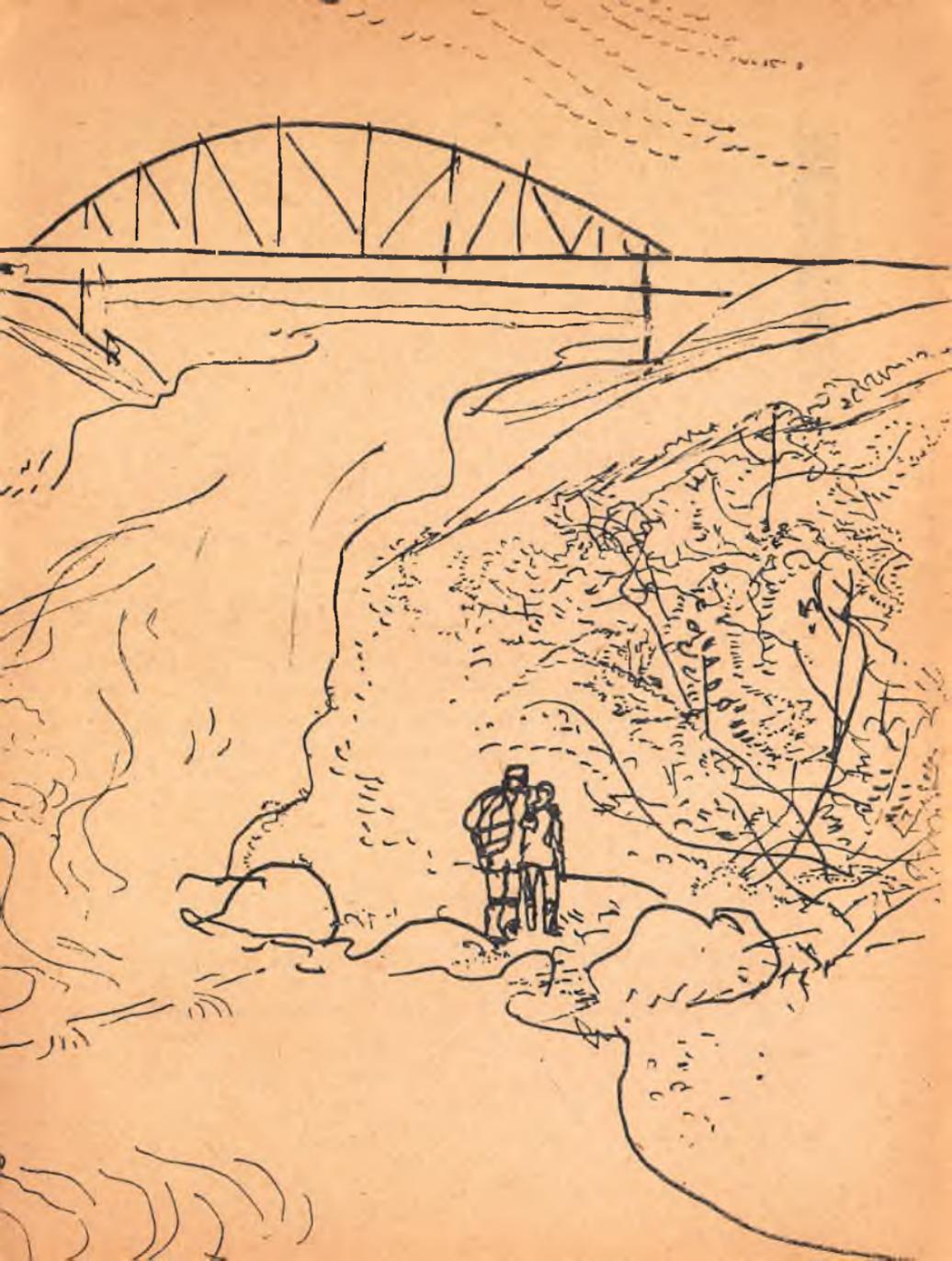
— Я с тобой, я мигом! — забегала, засуетилась Валя...

Вода кипела под мостом, обнимая столбы. Легкий, выкрашенный серебряной краской мост выглядел несолидным для такой настоящей реки. Он казался ненадежным, когда они шли по нему: вода бурлила прямо под ногами, и настил дрожал... Хотя ничего такого на самом деле не было: мост был высоко над водой, и по нему проезжали тяжелые машины. Кирилл и Валя подходили к перилам, смотрели вниз, и ощущение непрочности усиливалось. Все замирало внутри, словно они падали. Казалось, столбы рассекали воду, и мост плыл. Двигаться не хотелось, и это странное чувство покоя и движения одновременно завораживало их. Слева и справа темнел лес — берега. А наверху рассыпались звезды. Они казались выплеснутыми в том же направлении, что и река.

— Стоять нельзя. Проходите, — сказал, поравнявшись, человек с винтовкой. — Проходите, проходите.

Шаги часового удалились. Кирилл схватил Валю за руку, и они побежали. Мост гудел под ними.

Лесом они обошли запретную зону. Из-под ног посыпались камни и скатились прямо к воде. Мост четко рисовался позади, теперь не серебряный, а



черный на фоне ночного неба. И вода шумела у самых ног.

Они постояли немного и пошли, все дальше уходя от моста вверх по реке. Над лесом левого берега появилась тонкая, более светлая, чем ночь, полоска, а звезды слабели и таяли, словно удалялись.

Лес подступал вплотную, и они шли по узкой полоске гальки, почти по воде. Наконец лес отступил немного и образовал небольшую поляну. Высокая и густая трава покрывала ее. Она шуршала по сапогам, и сапоги блестели от росы. Земля под сапогами была твердой — не болото.

— Здесь, — сказал Кирилл.

Они наломали веток, постелили на ветки плащи.

— Теперь костер, — сказал Кирилл. — Ты садись.

Он возился с костром: строил его, прилаживал растопку — был занят. Вдруг что-то заставило его поднять голову, и он поймал внимательный, необычный, словно холодный, Валин взгляд и почему-то не выдержал его.

Костер все сопротивлялся и дымил без толку. Кирилл трудился теперь сосредоточенно и боялся взглянуть на Валию. Он хотел, чтобы она сказала что-нибудь, но она молчала. Костер наконец разгорелся, Кирилл вздохнул и встал, чувствуя, как заныли затекшие ноги, и осторожно посмотрел на Валию. Она лежала теперь навзничь, взгляд ее, блуждающий и пустой, видел и не видел его — Кирилл

вдруг задохнулся, мучительно покраснел и, резко повернувшись, зашагал от костра. «Я пошел», — сказал он невнятно. Язык не слушался его. Он уже почти бежал; неся на плечах одеревеневшую от желаний обернуться голову.

Он шел и успокаивался понемногу. Солнце красным краем выходило из-за леса, заслепила вода. Лес отступил от берега, оставив место большим камням: серым, сухим — на берегу, зеленым, мокрым — у воды и в воде. Утром в них было что-то живое, притаившееся: словно чьи-то спины.

Кирилл вскочил на камень и поскакал — с камня на камень, с камня на камень. Так он уходил вверх по реке. Вдруг — камень скользкий — и Кирилл в воде. Но и это не расстроило его.

Разулся, разделся, разложил все сушиться на двух больших камнях. И сам сел на третий, закурил. Солнце уже высоко, припекает. Он смотрел на бегущую воду и цепенел понемногу. Он сидел и ничего уже не помнил из предыдущей своей жизни; казалось, спроси, как его зовут, — не вспомнил бы. Это не он бегал, шевелился, суетился всю свою жизнь. А он всю жизнь был тут — третий камень.

Бросил спичку. Ее вымыло из-под камня и понесло вниз.

Комар сел на руку. Кирилл не стал сгонять его, смотрел, как тот тыкался хоботком в кожу... Нащупал. Погрузился по самые плечи. Надувался, надувался — из поджарого и черненького пре-

вращался в красный шарик. Очень хотелось его прихлопнуть, очень чесалось, но Кирилл терпел почему-то. Выпустил в комара струйку дыма. Комар засуетился, затопал ножками. «Не любишь?..» — сказал Кирилл. Комар с трудом вытаскивал голову. И еле улетел — тяжелый, сытый.

«И только-то...» — сказал Кирилл.

Река несла мимо рыжую, сбитую пену и какие-то палки, ветки. Несла и уносила. Деревянные санки ползли вверх по реке, против течения... Как же это? Ничего не понятно...

Кирилл очнулся от того, что рука, лежавшая на колене, свалилась в воду. Встрепенулся, вскочил, ничего не понимая. Понял, где он. Спыхватился: часы! Часы не тикали и показывали пять минут одиннадцатого. «Когда они встали и сколько прошло потом времени?» — думал он, поднимал голову вверх, смотрел на солнце, но — городской человек — времени по нему не определил. Кирилл оделся и повернул обратно. Мысли о Вале подгоняли его. Что же это он, дурак!.. А если она уже ушла, уехала?..

Шел, шел — тот же лес, тот же берег, те же камни. И ему казалось, он давно уже должен был прийти. «Не мог же я зайти так далеко», — думал он. Он все больше был уверен, что конечно же не застанет Валу, и тем больше надеялся, что застанет. Тут ему навстречу попался толстый небритый мужик с санками под мышкой, на полозьях болтались лески с крючками, и моток веревки висел у него на шее. Вот оно, оказывается, что... по-

думал Кирилл. Мужик прошел мимо, как в толпе, не взглянув. А Кирилл побежал, побежал вперед и, не успев еще ничего пробежать, увидел свою поляну...

Седая лепешка от костра, и ветерок шевелит легкие лепестки пепла. И рядом, свернувшись, спит Валя.

Он подошел, и Валя легко открыла глаза, проснувшись сразу, без испуга.

— Ну как? — спросила она.

— Все в порядке, — сказал он, виновато улынувшись.

— Сядь сюда, — сказала она.

...Потом был такой разговор:

— Ты меня очень презираешь? — спросила вдруг Валя.

Кирилл даже вздрогнул.

— Что ты!.. Глупая... За что?

— Ведь это я сама тебе навязалась.

— Глупая... глупая... — с умилением повторял он.

Курили.

— И с чего это ты меня выбрала? — спросил он довольно и глуповато.

А Валя сказала очень просто:

— Ты мне всегда нравился. Еще тогда, на танцах...

— Правда? — обрадовался Кирилл. — Как я мог тогда понравиться? — Ему хотелось приятных

подтверждений. — Я же вел себя, как последний идиот.

А Валя сказала очень просто:

— Почему — идиот? Мне только было обидно, что ты меня не пригласил ни разу.

— А почему же ты тогда была такая каменная?

— Когда?

— Когда меня к себе домой привела?

— Сам ты был каменный. Я же тебя привела...

Курили.

— Тебе ведь нравится Люся? — вдруг сипло сказала Валя.

— Нет.

— Неправда. Я помню, как ты на нее смотрел.

— Она — дура, — сказал он очень твердо.

— Кирюша... — как-то подавившись, глухо, словно издалека, позвала Валя.

Понедельник и далее, изо дня в день

Сначала все они ехали из разных концов города на автобусах. Потом они сходили в одном месте, где у всех автобусов было кольцо. Они исчезали в будке проходной, похожей на тыщи других проходных и все же таинственной, как чистилище. Они раскрывали пропуска — и тогда ока-

зывались на территории рудника. Если их смена начиналась днем, все шли до работы в столовую и там съедали обширный шахтерский обед, полагавшийся им по даровым профталонам. Сытые, все шли в гардероб. Переодевшись для работы, шли получать лампы в специальной ламповой. Оттуда, пройдя маленькую, все время хлопающую дверь, они оказывались на бесконечной и темной крытой лестнице — эстакаде. Деревянные ступени скрипели. Идти после обеда, в полной шахтерской выкладке по этой лестнице было нелегко. А впереди медленно рос и светлел прямоугольник — выход эстакады. Там, между эстакадой и входом в штольню, на небольшой площадке, все они собирались вместе.

На этой площадке лежало толстенное бревно, или, как все его называли ласково, «бревнышко», на котором и рассаживалась в ряд, постепенно прибывая, новая смена. Отсюда открывался прекрасный вид: внизу, в отдалении был город, и чаша озера, и горы вокруг чаши, — но вида этого уже никто не замечал. Перекуривали, переговаривались, переваривали обед. Ждали. Перед ними чернела дыра эстакады, и до последнего момента не видно было, кто там идет. Тот же, кто поднимался в это время по эстакаде, видел их всех, сидящих на бревнышке, значительно раньше. Он видел, как сосредоточенно вглядываются они в темноту эстакады и ждут. Он готовился к обычному взрыву приветствий и насмешек и чувствовал себя все более неловко.

И вот он появился внезапно, сразу во весь рост, из невидимого — у всех на виду.

— Кирюша! Кирюша! — закричали на бревне. — Профессор по безопасности! Смотрите, кто пришел!

Кирилл старается скорей поместиться на бревнышке, чтобы стать незаметным и со всеми ждать следующего.

— Нет, ты нам лучше вот что, Кирюша, расскажи...

Кирилл замирает в предчувствии.

— Расскажи-ка ты нам еще раз, как ты экзамен по безопасности сдавал?

— Да ну вас! — отмахивается Кирилл.

— Нет, вы послушайте! Его спрашивают, какие меры предосторожности вы примете, если вам надо будет пройти участок, где грозит завал? — А он отвечает: «Я пойду по другому участку!»

И все хохочут. А история эта рассказывается в сотый раз. А все хохочут. И Кирилл скромно посмеивается со всеми.

— Да нет же, все не так было! Его спрашивают, как надо себя вести в шахте, опасной по пыли, — а он говорит: «Не пылить!»

И снова всем им смешно.

И так до тех пор, пока не вырастает внезапно из темноты эстакады Сеня-старый, самый долговязый на смене человек.

— А, бурила наш! Бурила! — кричат все.

Бурилу пошатывает. Был бы он пониже ростом, может еще и ничего. А так он совсем пья-

ный. И от этого всем словно еще радостнее становится. Слова не выговорить — так смешно. Кирилл, как маленький, киснет от смеха.

— Где ж это тебя так?

Сеня-старый обводит всех взором, и бессмысленная улыбка расплзается по его лицу. Затем он растерянно смотрит на свои ноги, руки и не узнает. Вся его заскорузлая роба, высохшая за ночь, покрыта белыми лепешками засохшей породы. Сеня-старый недоумевает. Он снимает ватник и начинает выколачивать его об стенку эстакады. Белое облако пыли расплзается от каждого удара. Сколько ни бьет — пыли столько же.

Ребята затихли и смотрят серьезно.

— Бесполезно, Сеня, — говорит один.

— Это у тебя из стенки-то пыль...

Это уже невозможно, до чего всем весело! Сеня-старый недоверчиво оглядел сидящих, но колотить перестал. Держа ватник одной рукой на весу, он действует другой как щеткой. Пыли — столько же.

— А теперь у тебя пыль из ладони!..

— Гы-ы-ы!

И Сеня-старый плюнул на это дело. Сел. Закурил.

И вот теперь они, кажется, все собрались. Появляется мастер, и сейчас он поведет их под землю. Но на этот раз он медлит. Он достает из кармана пачку фотографий и раздает их. Каждому по одной. Кирилл смотрит на фотографию и видит то же самое бревнышко, на котором расселась вся

их смена точно так же, как сидят они все сейчас, как сидели вчера и будут сидеть завтра. Точно так они сидели и разговаривали неделю назад, а мастер вдруг достал аппарат, привинтил его к торчавшей из земли трубе, аппарат зажужжал, мастер побежал и уселся на бревнышко, и — щелк!

— Вот он прихо... — сказал было Сеня-младший и так и замер, рот — маленькое «о».

А Кильматдинов кинул камешек — так и замерли Кильматдинов и камешек: рука отведена, лицо глупое, улыбочивое, а камешек отлетел от руки и повис.

Сеня-старый пыхнул папироской — так дым и окаменел.

Кнюпфер склеивал сигарку — так и остался с высунутым языком, так и пристал к сигарке.

И вот они сидят на бревне, эти разные люди. Сидят и каждый разглядывает свою фотографию, такую же, как и у других, на которой сидят они на бревнышке точно так, как сидят они сейчас, много раз повторенные своими фотографиями.

И долго еще, если расстанутся, смогут они припоминать друг друга, глядя на этот нечеткий снимок, пока не потеряют или не забудут.

Вот сидят они на бревне, эти разные люди.

Вот — слева направо...

Мастер Стрельников — миловидный, молчаливый, словно бы застенчивый человек. Но вообще-то он и не такой уж молчаливый или застенчивый. Словно бы так: он все-таки начальник, и поэтому ему гораздо сложнее. Сложнее потому, что

он вообще-то «свой» — такой же, как работяги. Но он и начальник. Значит, не может он быть совсем такой же. То есть работяги, допустим, ругаются чаще, чем надо, — он же только когда действительно надо. Работяги сидят на бревне, шутят очень свободно, бросаются камешками — а ему нельзя бросаться камешком. Но ему это все близко, и ребят своих он любит, и за всем происходящим следит со вниманием и удовольствием, улыбается — но не во всю ширь, слегка, — глаза все понижают, покуривает и молчит.*

Вот окончил он техникум без отрыва, стал мастером — и пришлось ему задуматься: какой-то он уже другой, не такой, каким был всю жизнь, не такой, с кем прожил всю жизнь. Да, но он такой же! Так, может, четко и не думал, а только многое вдруг вспомнил и сравнил из начальников. Вот, например, можно быть совсем уж свойским: все с работягами, шутить, смеяться, выпивать маленькую... — и вспомнил: не «свой» такие начальники. Можно наоборот, совсем отделиться: производство — главное, и справедливость, а в остальном — сухо, строго: стена. Тоже не то: в лучшем случае — уважение, холодненькое такое уважение... Или еще: на работе я зверь, после работы я свой, после работы ты ко мне подойди, пожалуйста, расскажи что да как, я всегда помогу, я и выпью с тобой и в гости схожу к тебе, и ты ко мне заходи запросто... но на работе я — извини! — будь ты мне лучшим другом, братом, сыном, но... Но и это не то: и не подойдут к тебе

после работы, и в гости не пригласят, и к тебе не зайдут в гости.

Все это очень сложно: быть начальником и «своим». И уж до чего на фальшь все чуткие стали! Мастер Стрельников, может, и не разрешил всех этих вопросов, но по крайней мере задумался.

А это два Сеньки: Сеня-старый и Сенька-младший. Обоим по тридцать лет, и они не родственники. Сеня-старый — старый потому, что очень длинный. Весь длинный: и шея, и руки-ноги, и длинное лицо, очень неподвижное — пьян ли, трезв — все одно выражение. Еще он старый потому, что всегда молчит, а если надо ответить, мычит — ни да ни нет: пьян ли, трезв — мычит. И не улыбается — не то что угрюмый, — просто не улыбается, просто длинное лицо. И еще старый потому, что давно женат и много детей — трое или четверо, и с бабой не ладит. Старый — не старый: тут сложно, почему старый. Да и просто одного Сеньку от другого отличать надо.

А уж если посмотреть на Сеньку-младшего, то никак не скажешь, что он старый, а младший — это точно. . .

А это два крепыльщика. Может, профессия у них такая, что они как бы другие. Хотя тоже ведь со всеми — под землей. Но дело они имеют с деревом — плотники. И есть в них что-то от того дома, который они могут построить. И крепезный лес пахнет лесом, и стружка пахнет, и смола выступает каплями. Очень это много значит. Не

такие уж они подземные люди — они плотники. Со своим топором на смену выходят! А топор — сразу видно, какой он у них: свой, легкий, острый, и топорнице у него по хозяйской руке, ни по чьей другой. И когда шли все под землей цепочкой на смену и если впереди шел крепильщик и за поясом у него топор — прямо завидно становилось, какой у него топор. И тогда хотелось тоже топор, тоже за пояс. В общем, красивые бывают топоры!

Вот Кнюпфер. Это самый коротенький в смене человек и в то же время — самый сильный. В душе с ним рядом и стоять-то страшно. Вроде он тебе по грудь, а в дюймовые доски гвоздь ладонью загоняет: с одного удара — доска насквозь. Что бы он стал делать, если бы не умел этот гвоздь ладонью загнать, даже представить трудно. Словно бы главная это его черта. «Это который?» — «А это тот, который ладонью гвоздь в дюймовую доску загоняет». — «Ах, этот... ну да, знаю, загоняет». Впрочем, если бы не загонял, тогда был бы он Кнюпфер. Также ведь примечателен и человек по фамилии Кнюпфер.

А вот эти двое — навалычики. Кирюша и Коля, самый старик из всех, Кирюшин учитель. Человек он тихий, сядет всегда незаметно. Его на этой фотографии и не видно совсем.

А это взрывник Вася. Про него можно много не говорить. Вася — это Вася. Шутник. С ним тоже была история, которая всю его последующую деятельность вроде как на нет свела. То есть что

бы он теперь такого ни сделал, никак не сравниться ему с той историей. Все равно он остается «тот, который». И это его, конечно, удручает.

Вот эта история, которую так любят рассказывать на бревнышке.

Женил Вася брата. Дело ответственное, хлопотливое. Жениху нельзя же бегать... Пришлось бегать Васе. Приглашать, закупать, организовывать. И все это после работы. Бегал. А потом все организовал — и свадьба. Опять же с самого утра принимай поздравления да уважь всякого. Конечно, это тоже должен был делать он, Вася. Потому что с каждым и выпить надо и угостить. Нельзя жениху все это делать: жениха до вечера поберечь надо. В общем, так это было утомительно с самого, можно сказать, начала, что к свадьбе, когда все собрались, не было уже Васи. Отдыхал он где-то за печкой, и никто не мог уже его добудиться — так он устал. И не только это. Свадьба прошла, и утро наступило, и Васе на смену идти — но и тут не добудиться Васи, так он устал. Однако добудились. Пошел Вася, пришел, и все увидели, что работать ему будет трудно — такой у него утомленный вид. Сразу понятно: надо дать ему еще отдохнуть. Но мастер такого не любил и послал его за это на самую трудную работу: в дальнюю выработку, после взрыва породу убирать. Поплелся Вася, усталый такой, лопату еле волочит — жалко его всем было... Но только все разбрелись по местам и приступили — вдруг видят: несется это назад Вася в ужасном виде и

кричит нехорошим голосом. Схватили его, а он бьется в руках и все говорит: «Гоолый, беелый, хоодит!» Еле удалось понять. Оказывается, увидел он там, где ему было работать, разгуливающего голого человека. Мастер ему говорит, что ерунда, предрассудки. А он: «Не буду я там работать! Не могу! Боюсь!» Ну, конечно, все поняли так, что Вася переутомился до того, что ему теперь кажется.

Ну, мастер расставил всех по местам и, бормоча, что вот какие глупости, все-таки пошел посмотреть, что там такое. Но вот и он прибегает. Не в таком, правда, ужасе, но взволнованный крайне. «Самого, говорит, не видел, но следы босые имеются». Пошли тогда вместе, всей сменой. И действительно, босые следы выходили из стены и спускались в яму грохота. После взрыва наверх такая совсем уж мелкая пыль укладывается, вот на ней отчетливо вышли следы. Но раз сверхъестественного не бывает, все поняли так, что действительно, хотя и трудно поверить, кто-то голый ходит. А это уже ЧП, такого уже допускать нельзя. Тут надо принимать меры. Всю смену принимали — какая уж тут работа! — ничего не нашли. А потом — то ли кто-то догадался, то ли сам Вася не выдержал, но выяснилось. Это Вася сам, не в силах работать, штуку выдумал. Разулся, наследил, обулся и прибежал в ужасе. А потом где-то пристроился уютно и всю смену проспал, пока его искали. И то сказать, переутомлен ведь он был чрезвычайно... Хохотал весь рудник, а

рудник — значит, целый город хохотал. Высшее начальство вопрос обсуждало. Но Васю так и не уволили: предупредили и оставили. Видно, и высшее начальство хохотало. . .

А вот сидит Кильматдинов. . . А вот. . . Много их тут поместилось на бревнышке. И все они без разбору нравятся Кириллу. . . Отвести руку с фотографией, чтобы полюбоваться, и сказать про себя: «До чего же славные все люди сидят на этом бревне!» — и оживает фотография, и сидят они живые, на самом деле. . .

. . . Мастер докурил папироску, сказал: «Ну, пошли», — и все скрылись цепочкой по одному под землей.

Работать в этот день пришлось много. Как и вчера.

А когда работа наконец кончилась, они снова долго шли по выработкам, выбираясь на поверхность. И когда они снова оказались на площадке, где собирались перед сменой, Кирилл, как всегда, так обрадовался небу, словно и не надеялся увидеть его больше.

— Подумать только — небо над головой! — сказал он Коле. — Словно из преисподней. . .

А Коля сказал:

— Гора, она и есть гора. Только привычка тоже много значит. Преисподняя — это точно. Но только и без нее как-то скучно.

И они прошли, не задерживаясь, мимо своего бревнышка, никто его и не заметил, словно его и не было.

Если он работал в ночь или в утро, то ходил встречать Валю. Лаборатория, в которой она работала, помещалась на первом этаже — он стучал в окно. Показывалась девушка в халате, кивала и отходила. «Валя, твой пришел!» — слова доносились из глубины, и Кирилл всегда удивлялся этим словам. Валя вскакивала на подоконник и высовывала голову в форточку. Это тоже постоянно поражало Кирилла, напоминало ему больницу. «Что ж ты так рано пришел? — говорила Валя. — Но ты подождешь? Я уже скоро. . .» И он ждал.

Они любили уходить из города и гулять в лесопарке, пустом в это осеннее время. Но погода все чаще была плохая: дули ветры и шли дожди. Тогда они шли в кино, иногда им приходилось смотреть одну и ту же картину два дня подряд. Когда Валя точно знала, что Клары не будет, они проводили вечер дома. Если не в кино и не к Вале, то шли в общежитие к Кириллу. После отъезда ребят Кирилл переселился к Сеньке-младшему, чтобы было не так скучно, и еще потому, что общежитие к первому сентября заняли хозяева — ремесленники, новый набор. Сеньки все больше вечером не было дома или он подмигивал и уходил.

Но бывали дни, когда все эти возможности иссякали. Шел дождь, дул ветер и сек кривыми брызгами лицо. . .

— Куда мы пойдём?

— Некуда.

- Может, в кино?
- Не смотреть же эту дрянь в третий раз!
- А к тебе?
- Клава полы моет. А к тебе?
- Сенька уроки делает.

Кирилл думал тогда о том, что надо бы сказать: «Ну, иди тогда домой... Зачем тебе мокнуть? Завтра встретимся...» — но не говорил этого.

Они брели под дождем и выбирали себе дом. Валя любила, чтобы были большие, красивые окна. «Вот в этом я хотела бы жить», — говорила она, и они проходили дальше.

Они выбирали себе дом, но шел дождь, и в конце концов они скрывались от него в первой попавшейся парадной.

Вытирали друг другу мокрые лица и долго целовались у батареи.

Двери хлопали, и в парадную входил кто-нибудь из жильцов или их гостей и начинал отряхиваться и оттаптываться с дождя. Он рассматривал их, и они, делая вид, что тоже только вошли, начинали медленно подниматься по лестнице, давая себя обогнать, и, когда дверь наверху хлопала, останавливались на площадке.

И снова целовались у батареи, пока снова не хлопала какая-нибудь дверь.

Так они поднимались и останавливались, и поднимались до последнего этажа. Выше, в тупике, была последняя квартира, а на их площадке — большое, с полу, окно — из тех, что так

нравились Вале. Лампочка, как правило, не горела, и было темно.

Они сидели на ступеньке. Было очень тихо. Легким звоном звенело в ушах. Рядом, так рядом, что не разглядеть, темнело Валино лицо: оно словно раскачивалось.

Свет достигал с улицы, на площадку ложились его квадраты. Когда ветер качал на улице фонарь, квадраты разбегались, и потом возвращались на место, и снова разбегались. Блики скользили по потолку, скользили по лицам. Проезжал грузовик, наполнялось гудением стекло, и свет фар путешествовал со стены на стену, и все успокаивалось снова.

Они уставали целоваться и сидели молча, касаясь плечами. Это прикосновение действовало даже сильнее.

Они курили, передавая друг другу сигарету. Огонек поднимался и опускался. Проходило время, прогуливались по потолку и стенам блики уличного света, и огонек снова поднимался и вспыхивал — затычка. И выхватывал из темноты их лица — то Кирилл, то Вали.

По лестнице поднималась кошка. Вспыхивала зелеными глазами. Увидела Кирилл с Валей, насторожилась. Посмотрела и пошла обратно.

— Что мы, ее место заняли? — сказала Валя.

— Не знаю, — сказал Кирилл. — А как пишется «катавасия»?

— Не знаю.

— Странно... Неужели от «кота Васьки»?

- Действительно. Кото-васия. Страна такая.
- Кото-мурия...
- Это для нас слово.

Кто-нибудь поднимался и на верхний этаж и испугивал их. И они, так же постепенно, начинали спускаться...

...Если же он работал в дневную смену, с двенадцати до восемнадцати, то они встречались позднее. Тогда его встречала Валя. Иногда она пропускала день из каких-то своих соображений, которые трудно объяснить. В остальном их вечер располагался так же.

Хуже было, если он работал в вечернюю смену, с восемнадцати. Тогда они совсем не могли встретиться. Но они все равно умудрялись видеться, правда мельком, когда Кирилл шел на работу, а Валя возвращалась с нее.

Все это: и работа, и встречи с Валею — приобрело постоянный ритм. Этот ритм стал привычным. И Кириллу начинало казаться, что так было и будет всегда. И даже иначе быть не может. Он был счастлив. И не то чтобы все это начинало наскучивать и угнетать его... Просто завтрашний день был уже настолько известен ему, настолько он был уверен в нем, что, быть может, переставал ценить сегодняшний.

Повестка

Часов в двенадцать в комнату постучали. Кирилл еще спал — отсыпался после ночной смены — и не услышал стука. Он очнулся, мыча и тяжело разлепляя веки: его трясла за плечо тетя Вера. Рядом с ней стоял маленький паренек в длинном плаще и кепке-лондонке, натянутой на брови и на уши.

— Кирюша, просыпайся, — сказала тетя Вера. — Тебе повестка.

— Какая повестка? — не понял Кирилл.

Паренек вышел вперед и заслонил тетю Веру.

— Капустин? — сурово спросил он.

Кирилл посмотрел на него как на недоразумение.

— Капустин он, Капустин, — сказала тетя Вера, — кто же еще?

— Распишись, — сказал паренек и сунул ему под нос тетрадь.

Кирилл неловко расписался — писать на мягком было неудобно.

— Ну вот, скоро ты с нами простишься... — говорила тетя Вера, и они уходили.

Кирилл лежал на спине и разглядывал эту длиненькую полоску бумаги, быстро просыпаясь. Он прочел весь текст, включая «Тип. ФО зак. № 1017» — в нижнем левом углу и «Форма 1-а» — в верхнем правом, и перечитал снова.

«Самое смешное, — подумал он, — как я ни разу об этом не вспомнил, не подумал, хотя знал об этом прекрасно... Кто ж этого не знает?... Пойдите!.. — спохватился он. — Так нельзя. А как же Валя?..»

Он положил повестку на тумбочку, и комната, такая привычная, менялась оттого, что на тумбочке лежала бумажка продолговатой формы, и не продолговатой — а формы 1-а, и в нее была вписана его, Кирилла, фамилия. В комнате словно изменилось освещение, она присела и раздвинулась.

Кирилл встал босыми ногами на пол. Пол был холодный. Сенька спал как сурок. Он скрыл-

ся под одеялом весь и наверняка ничего не слышал. Впрочем, это к нему и не относилось.

«Валя... Как же с Вале́й? Валя...» — тупо повторял Кирилл.

Он прошлепал к окну. Все тот же вид был за окном: каменистый склон, трансформаторный киоск и строительство жилого дома... Тот и не тот. Он был шире и смутней в это слабое и позднее северное утро. Земля была черной, в белых круглых лепешках. «Вот и первый снег... — понял вдруг он. — Как пролетело лето!»

Он передернул плечами и, быстро одевшись, вышел.

Все было неподвижное. И в этой неподвижности ветер гнал рваную газету. Все было незнакомое.

Валя высунулась в свою форточку.

— Что ты так рано?

— Пришел сообщить, что скоро ты будешь свободна.

— Как свободна?..

— Я тебя увольняю.

— Что ты несешь?!

— В связи с переходом на другую работу...

— Ничего не понимаю! Ты что, выпил?

— Ни в коем случае.

— Что случилось? Говори скорей. Не могу же я так и торчать в форточке!

— Ничего не случилось.

— Что ты мне голову морочишь?

— Выходи за меня замуж.

— Не треплись.

— Я серьезно.

— Ты что, другого времени не нашел?

— Ты свободна, — опять сказал Кирилл.

— Дурак, — сказала Валя и спрыгнула с подоконника.

— Подожди, я сейчас выйду, — сказала она, снова появляясь в форточке.

И они пошли к Вале: Клавы наверняка не было дома.

На секунду бы раньше...

Все последние дни работа была спокойной, а сегодня опять занеладилось. Все спех, беготня, и опять «пирожок» им достался. Уже и сил никаких, а всего полсмены, всего три часа прошло.

Сидели на каких-то досках, курили.

— Да, — сказал Сенька-младший. — Не повезло тебе, Кирюша. На комиссию идти — и смена, как назло, ночная. Вот была бы утренняя — другое дело.

— Да, — сказал Вася-взрывник, которого опять заставили работать на погрузке. — Такую смену, какая сегодня, прогулять — одно удовольствие!

— Уходишь, значит, — сказал Кнюпфер. — Я всегда говорил, что не удержишься ты у нас.

— Я-то тут при чем! — рассердился Кирилл.

— Когда же ты уходишь? — сказал Коля.

— Не знаю, — сказал Кирилл и удручился.

— Да, — сказал Сеня-старый. — Тут как прикажут. Ать-два — и пошел... Как по часам.

— Да... часы... — сказал Коля и пожевал губами. — Что это у тебя, я вижу, ремешок какой-то новый?

— Правда, забавный? — оживился Кирилл. — Из дому вот прислали.

— Покажи, — сказал Коля. Повертел, примерил.

— Да... — сказал он раздумчиво и серьезно. — Это только у вас в Ленинграде такие штучки... У нас таких не бывает. Слушай, Кирюша, давай: ты мне свой, а я тебе свой...

Работяги прислушались.

— Махнемся, а? — сказал Вася. — Часы на труссы?

— Нет, я серьезно, — сказал Коля. — Давай, а? Вот ты уйдешь — мне будет память...

— Подарок... — замялся Кирилл. — Неудобно все-таки.

— Ну, давай, а? — Коля помолодел даже. — Ты с моим обойдешься.

— Зачем меняться? — сказал Кирилл. — Я тебе подарю. Напишу только — и мне еще вышлют. И я тебе подарю.

— Ну вот, — сказал Коля разочарованно. — Когда еще подарить... А сейчас обменяться можешь... — Очень ему вдруг захотелось.

— А вот у меня, — сказал Сенька-младший. — Был золотой ремешок.

— Золотой? — заинтересовался Кнюпфер. — Скажешь... Куда же ты его дел?

— Где ж это ты золото от нас прячешь? — сказал Вася.

— Да вот же, честное слово, был! — с отчаянием сказал Сенька-младший. — Не верите.

— Ладно, верим, — сказал Вася. — Ну, был. Так его же нету? А вот у меня, я вам скажу, часы были! Швейцарские.

— Ну, это еще ничего особенного, — сказал Сеня-старый. — А вот у меня...

— Постой, — поспешно сказал Вася. — Дай досказать. Вот были часы! Я однажды спяну купаться полез... Плавал, плавал — вдруг хватить! — часы на руке. Ну, думаю, все. А они идут. Я обрадовался, стал прыгать с ними, всем показывать, что у меня за часы... Прыгал, прыгал. А они вылетели из руки и о камень — хлопысть! Ну, думаю, все. А они идут...

— Куда же они потом делись? — злорадно сказал Сенька-младший.

— Ну, это еще что... — наконец удалось перебить Сене-старому. — А вот...

И пошел вечный разговор о часах.

Рассерженный, подходил мастер:

— Что ж, вы и работать не хотите? Кто ж это за вас все делать будет?

— погоди, Леша, погоди, — нетерпеливо отма-

живались от него. — Дай про часы доскажу... Так вот, они старинные были. С крышкой...

И мастер, на что уж серьезный человек, не устоял.

— Это что, — сказал он. — Вот я из Германии, когда служил, часы привез! Двенадцать циферблатов. Года, месяцы, недели, дни. Даже високосные года учитывали. Потом восход и заход солнца — тоже показывали. Компас в них был, — говорил он, загибая пальцы.

— Здоровые, должно быть, часы были!.. — насмешливо сказал Вася, он был зол на мастера.

Лицо мастера потускнело.

— Марш! Марш! — сказал он. — Совсем работать не хотят.

Встали не спеша. Пошли вразвалку, разминая затекшие ноги.

Мастер подозвал Колю с Кириллом:

— А вы что же не до конца убрали? Грязь под тринадцатым люком. Вот идите теперь, уберите. Мы из-за вас погрузку задерживать не будем. — И добавил: — Только, смотрите, осторожней, когда будем состав подавать. А так — там широко, места вам хватит.

Работать, как обычно после перекура, не хотелось.

— Всегда раскопают какую-нибудь работу, даже если ее нет, — по-работяжки буркнул Кирилл.

— Это ты точно, — сказал Коля. — Ну, да мы быстренько все это перекидаем. Ты иди туда. А я

тебя нагоню, лопату я забыл... Ну так как же насчет ремешка?.. — спросил он, удаляясь.

Кирилл нехотя поплелся к тринадцатому люку. Куча, которую им надо было убрать, была не большая, но и не маленькая. Лениво ткнул в нее лопату. Но начать не успел. Раздался свисток. Значит, сейчас подадут состав. Кирилл вспомнил наставление мастера быть осторожным и в данном случае выполнил его с наслаждением: выпрямился и лопату к стенке прислонил.

Но это один миг: состав продвинулся на вагон вперед и остановился. Снова берись за лопату...

«Что же я один буду грузить!» — думал Кирилл. Он думал о комиссии, на которую ему идти после смены. Что все наладилось — и уходить. Думал о Вале. Думал, и работать уже не хотелось. «Коля не работает — и я не буду, — говорил он себе, садился на лопату. — Так-то лучше... — приговаривал он, вытягивая ноги. — Что я, один работать буду? Треплется с кем-нибудь, а я грузи».

И Кирилл потягивался, устраивался поудобнее...

Коли все не было. Неподалеку мелькнул мастер и погрозил кулаком.

«Черт, — нетерпеливо думал Кирилл, — куда же он подевался? Работать, да еще одному, по-прежнему не хотелось. Недовольный, он лениво поднялся и, уже вовсе рассерженный, пошел за Колей.

Он обнаружил его неподалёку. Коля вытянулся на доске, которую они перед тем приспособили как лавочку для перекура, и спал покойно и тихо.

«Давит...» — завистливо подумал Кирилл. И сразу почувствовал, до чего же ему самому хочется лечь и вытянуться: ночная все-таки смена.

С люка спустился Сенька-младший.

— Что скажешь, Кирюша?

— Посмотри... — Кирилл хмыкнул, показав на Колю.

— Да, — сказал Сенька. — Что-что, а спать он умеет... Это, как вас с ним мастер послал убирать, Коля мастера-то вперед пропустил, а сам вернулся и улегся. Вот с тех пор...

И Сенька, взяв внизу топор, поднялся обратно на люк.

Кирилл наклонился над Колей.

— Коля! — тихо позвал он.

Тот не отвечал.

«Да как крепко!» — подумал Кирилл. Будить спящих ему всегда было не под силу, неловко.

— Коля!! — Кирилл тронул его за плечо и слегка качнул.

Рот у Коли задергался, скривился, и Коля не то промычал, не то простонал во сне.

— Ну что ты, Коля?.. Ведь грузить надо. Мастер ругаться будет... — сказал Кирилл и качнул Колино плечо еще раз, уже сильнее.

И вдруг осекся. Коля застонал, громко, про-

тяжно, и розовая струйка выползла из угла рта и побежала по скуле.

Непонятный, детский страх охватил Кирилла. Он почувствовал себя маленьким.

— Что с тобой? — испуганно сказал Кирюша и отдернул руку от Колиного плеча.

Коля простонал еще раз. Приоткрыл глаза, мутные, жалобные, и, с трудом двигая синими губами, промычал:

— М-мо-ой!.. Умираю...

— Да что ты! Что с тобой?! — говорил Кирюша, застыв над Колей в неестественной позе и боясь теперь прикоснуться к нему.

— О-ой!.. Миленькие... О-ой!.. Родимые...

Кирюша прокричал вверх люковым. По-видимому, голос его прозвучал странно, потому что они тут же подскочили к перилам.

— Что с тобой? — спросил сверху Сенька.

— С Колей что-то...

— Спит же он.

— Да нет, стонет, говорит: умираю.

— Прикидывается, — сказал Сенька, но начал спускаться.

— Да нет же, у него кровь! — крикнул Кирюша.

Люковые слетели вниз.

— Коля! Коля!!

Он только стонал.

Прибежал мастер.

— Что с ним? Как это случилось? Когда? Кто видел?! — с испугом спрашивал он.

Никто не видел. Никто не знал, когда. Никто не знал, как. Все молчали. Кирюша говорил:

— Я там, под тринадцатым, грузил, смотрю: Коли все нет. Думаю: чего я один грузить буду... Пошел за ним. Вижу — тут лежит. Думаю: спит. Стал будить — а он стонет... И кровь...

Коля простонал и открыл глаза. Узнал мастера.

— Что случилось? — спросил мастер.

— Пошел за лопатой... Состав подали... О-ой!

— Я думаю, чего я один грузить буду, — говорил Кирюша, — пошел за ним: А он тут лежит...

Отцепили электровоз. Колю тихо подняли и понесли. Наверно, это было ему очень больно.

— О-ой, родные... О-ой, не надо... — стонал он.

Его положили сзади водителя. Мастер прицелился, стоя на буфере. И они уехали.

— ...Стал его будить, а он стонет. И кровь... — повторял всем Кирюша.

— Да... жаль старика... Подумать только, не первый год ведь в горé... — говорили ребята.

Вдали по выработке послышался свист. Вот и огонек. Это шел Вася, взорвав что было нужно, свистел и лампой помахивал. Подошел, улыбаясь.

— Ну, как дела? Все ковыряетесь? — хохотнул он. — Иду это я, вижу: наш электровоз катит. Коля там на лавочке сидит и мастер, как ла-

кей... сзади... — Вася посмотрел на всех и осекся. — Куда это они его повезли?

— Рожать, — зло процедил Сеня-старый.

— Пострадал старик... — сказал кто-то.

— Как это его угораздило? — спросил Вася.

— Сами не знаем.

— Нас мастер вместе послал, — снова начал Кирюша. — Я туда прошел, начал работать, а Коли нет. Я думаю, чего я один буду работать...

— Я думаю так, — скучным голосом сказал Кнюпфер. — С той стороны прохода между составом и стенкой нет. А лопата у него там стояла. Он стал протискиваться за лопатой, а состав как раз и подали вперед. Ну, Колю и развернуло, поперек ребер сдавило...

— А что ж он и не крикнул даже?

— А может, и не смог.

Больше уже не работали. ЧП.

Вернулся мастер. Сказал: ничего не известно. Лицо у мастера было серое и несчастное.

— Надо же... — говорил он, словно самому себе. — Не первый год старик в горé... Попался, как новичок. Кто же там ходит!.. Раз прохода нет! Да когда состав! Да когда трогают!.. Да и зачем ему было лопату там оставлять?.. Сам и виноват!.. Ты! — закричал он на Кирюшу. — Тоже бросаешь лопату где попало! Отвечай потом за тебя...

Ровно через час появились начальники: начальник рудника и представитель горнадзора. Оба, люди на поверхности грозные, под землей

как-то терялись и выглядели чуждо и не страшно. Может, такими их делала непривычная на них роба и каски. Особенно представителя... Впопыхах ему, видно, не подыскали подходящей спецовки: он торчал из нее, и каска сидела на огромной круглой голове маленьким кругляшом, словно была положена. Станным казалось, что она не соскальзывала. Начальники приближались, разгневанные и сонные.

Мастер, еще больше посерев, вышел им навстречу.

Начальник и представитель подали руки несчастному мастеру и что-то спросили у него. Они говорили сначала тихо и спокойно, все трое, и голосов их слышно не было. Постепенно голоса их зазвучали громче, мастер потуплялся и молчал — начинался разнос.

Работяги стояли в сторонке, поглядывали с прохладным любопытством, вполголоса переговаривались, обсуждали происходящее: что тот «стрижет», а этот «бреет», что оба они «чешут», что у «кучерявенького» касочка сейчас слетит, только он еще разик головой тряхнет, что теперь уж «начальников налетит», и что начальники сами виноваты, оттого и кричат, и что мастера жалко: он ведь неплохой мужик, просто должность такая, — и что у начальников, впрочем, тоже «такие» должности... .

Отчитав мастера, отжурчав, начальники приступили к опросу свидетелей.

— Кто видел, как это произошло?

Все молчали. Потуплялись.

— Кто был очевидцем?

— Что? Ни одного человека? Никто не видел?!..

— Никто не видел!.. Надо же! Что это у вас, товарищ Стрельников, — снова налетели они на мастера, — на смене делается? Что творится?! Чтобы человека задавили — и чтобы ни одного свидетеля не было! Черт знает что такое. . .

— Мы-то вообще-то тут работаем. . . — невыносимо вежливо сказал Вася. — По сторонам не смотрим.

Кто-то прыснул, давась, прячься. Словно хрюкнул.

Представитель заглотнул воздух и, резко развернувшись, пошел широким и гневным шагом. Начальник помедлил, словно хотел еще что-то сказать, но промолчал и, так же развернувшись, удалился следом.

Потерянный, подошел к работягам мастер.

— Брось, Стрельников, не унывай, — сказали они ему. — Тут твоей вины нет. И ничьей нет. Коля сам полез. А виноватого найти всегда можно. Только поискать. Ну, да мы, если что, всей сменой пойдем. . .

— Разве что. . . — неуверенно говорил мастер.

Тут оказалось, что их смена уже кончилась, и они пошли наверх, обсуждая случившееся. На душе у Кирилла было погано. Огромную и неясную вину чувствовал он в себе, как бы в крови своей, хотя удобная логика говорила, что он ни

при чем. Но логика эта ломалась воспоминанием о том, что он так и не поменял ремешок, а теперь уже не поменяешь, и о том, как Коля один из всех рискнул захлопнуть заслонку, когда Кирилл увяз тогда на люке... Вспоминал, как злился сегодня на Колю, что тот не идет и что ему, Кириллу, приходится работать одному... Злился, а в этот момент Колю и придавило... Поэтому и придавило. Хотя это бред, убеждал он себя, мистика. А Коля, вспоминал он, несколько раз сам, по своей воле, давал ему отдыхать и работал один... И вспоминал, как прибежали начальники и как они кричали...

А человек, может, умрет.

Кирилл вспоминал разговоры, пересуды, смешочки вокруг случая, и понимал, что в этих разговорах как-то уже исчезал человек Коля, а оставался случай с Колей... — и все ему казались равнодушными, жестокими, бессердечными. А он, Кирилл, всех хуже.

И когда вышел на дневную поверхность — не было радости. Даже стало еще хуже. словно свет упал на что-то мерзкое, гадкое, что уж лучше в темноте и не видеть.

А ведь пройди Коля за своей лопатой на секунду раньше — и состав бы еще стоял, и все было бы в порядке... На какую-то секунду! Может, мастер задержал Колю на эту секунду каким-то лишним словом, а может, он, Кирилл... словно сам Коля выбрал этот момент, чтобы случилось несчастье, и словно все помогли ему в

этом. Словно увидели вдруг, например, что падает с высоты что-то тяжелое, и там под ним стоит человек, и все закричали ему, он побежал и как раз подоспел под это тяжелое. . . А может, надо было бы задержать Колю на секунду дольше — и тогда тоже все было бы в порядке. . .

Господи, какая бессмыслица!

Комиссия

«Да что вы, с ума сошли? — сказали ему в больнице. — Он же еще в сознание не приходил. Состояние тяжелое — это все, что мы пока знаем. Врача? Нет, его нельзя увидеть. Ну, если вы так хотите, то сможете поймать, когда он уходит с дежурства. В восемь. Вы его легко узнаете: это самый толстый человек в городе. Только мы вам ничего не говорили. . .» — Так объяснялась с ним в приемном покое добрая тетка строгого вида.

Он дождался самого толстого врача. «Ну, чего захотели! . . Навестить его удастся не скоро. Жить-то он будет, но тоже не скоро», — так объяснил дело врач.

Усталый, не евший и не спавший, спешил он из больницы в военкомат. Он уже опаздывал к назначенным девяти часам. Было еще совсем темно, сыро и холодно. Его знобило, даже трясло. То ли от холода, то ли от возбуждения. Тяжелые мысли о Коле и о себе наслаивались на тоже

нелегкие — о Вале и о себе. И там и там он уже ничего не мог поделывать. Коле он был не в силах помочь, — молил бы бога, если бы верил. И с Валей не расстаться он был не властен, а три года — срок большой.

Это было даже неприлично, как его трясло.

...По вестибюлю военкомата разгуливали парни, стриженные наголо. Ходили они поодиночке, незнакомые друг с другом. И посматривали исподлобья, не то что недружелюбно, но как-то без особого желания знакомиться. Их будто что-то расталкивало, этих парней. Проходя вестибюль, Кирилл чувствовал, что отличается от них чем-то, что они смотрят на него чуть ли не с завистью, но он не понимал, в чем дело. Да ему было и не до этого. Только удивился мимоходом, что это они так поспешили постричься?

Кирилл подошел к дежурному офицеру, молоденькому лейтенанту, протянул повестку. Лейтенант повестку взял, почему-то рассматривал ее пристально и серьезно, словно впервые такие штуки видел. Кирилла это раздражило.

— Она не поддельная, — сказал он.

Лейтенант бросил на него короткий взгляд.

— Вы мне лучше скажите, почему вы до сих пор не постриглись? Может, общий порядок — это не для вас? — сказал он с готовой иронией.

— Так ведь еще рано, — удивился Кирилл и растерянно провел по волосам рукой. — Это же перед отправкой. . .

— Вот что, я с вами дискуссий разводить не

намерен! — говорил лейтенант, с удовольствием заимствуя и слова и тон кого-то, кто был для него во всех отношениях примером. — Идите и постригитесь. Иначе не возвращайтесь.

— Может, вы меня еще три месяца тут придержите до отправки. . . — сказал Кирилл. — Может, я больной и меня еще не возьмут?

— Возьмут, возьмут. Уж это точно. Такого орла да не взять! — говорил лейтенант с таким придуманно-ласковым пониманием во взгляде и прибавил с такой же придуманной грубоватостью:

— А ну марш стричься!

«Из-за чего разговор? — подумал Кирилл. — Спорю тут, дурак, с дураком. . .»

Кирилл пожал плечами и направился к выходу.

— Куда вы? — крикнул лейтенант.

— Стричься, — сказал Кирилл.

Парни-одиночки, уже пережившие все это, даже приостановились в своем хождении, наблюдая сцену. Сейчас они удовлетворенно хохотали.

Дверь, снабженная мощной пружиной, надавала ему в спину. Все противно встряхнулось в нем от толчка.

— Наголо?

— Наголо.

— Совсем наголо?

— Да.

— Военкомат?

— Да.

После этого «да» парикмахер, до того медливший, подпрыгнул к нему и в одно мгновение выстриг машинкой широкую полосу с затылка на лоб.

Кирилл увидел себя в зеркале и рассмеялся. Вот сейчас бы пойти и показаться в таком виде лейтенанту? С эдаким проборчиком... Посмотреть бы на него!

Но пока он мечтал об этом, парикмахер уже снял все, что оставалось слева от полосы. Теперь волосы нелепо торчали только с правой стороны. «Так еще лучше!» — успел подумать он, и парикмахер с движениями фокусника не оставил на его голове ничего.

Кирилл с удивлением смотрел на себя в зеркало, так же исподлобья, как те парни в вестибюле. Он никогда не подозревал, что голова у него такая круглая...

А парикмахер, верткий парень не старше Кирилла, необыкновенно в противовес ему волосатый, будто уже вовсе издеваясь, проходился машинкой по круглой голове Кирилла. Словно поглаживал. Словно старался. Все это было нарочно и глупо. «Чем он так в себе доволен?» — думал Кирилл, с досадой прицениваясь к длинной, бесплечей фигуре парикмахера. А тот, нежно прикоснувшись машинкой еще раз, как бы подровняв последнюю волосинку, в последний раз бросив в зеркало свой глупо-насмешливый взгляд, сдернул с шеи Кирилла салфетку, взмахнул ею...

— Готово!

Выходя из парикмахерской, Кирилл еще раз увидел себя в зеркале. «Точно такой же...» — подумал он, вспомнив парней в вестибюле.

Парикмахерская и парикмахер как-то раззадорили его и отвлекли. «Интересно, что это ему было за удовольствие поиздеваться надо мной? — подумал он. — Что за радость?»

— Вот так-то лучше, — сказал лейтенант. — Так бы давно.

— Что — давно?! — огрызнулся Кирилл. «Кто его за язык тянет? Оставил бы меня в покое...»

— Но-но! — сказал лейтенант. — Полегче...

Кирилл скрепился и смолчал.

— Тебя бы в мой взвод... — многозначительно добавил лейтенант.

Кирилл и тут смолчал и стал ходить по вестибюлю так же отдельно и так же вперед лбом, как и остальные парни.

Так он ходил целый час. Было уже около одиннадцати. Ночь и ее события брали свое. Страшно хотелось есть, пить, спать. Его снова начало знобить.

— Долго еще нам так пастись? — спросил он лейтенанта.

— Ждите, вызовут, — сказал тот.

— Да господа, напишите, что я годен, — и дело с концом. Что я, не годен, что ли?

— Сами же говорили, что, может, не годны, — съязвил лейтенант, и, видно, это доставило ему полное удовлетворение: он улыбнулся вдруг не-

придуманно широко и открыто, удивительно по-детски.

— Но теперь-то я уже постригся? — сказал Кирилл. — И этого не говорю? Ведь я годен, это ясно, что же меня здесь мучить? Я не ел, не спал. Пока дождусь — окажусь негодным.

— Что же ты не ел, не спал?

— Ночная смена.

— Не повезло тебе, — сочувственно сказал лейтенант. — Не подгадала у тебя смена. Ну, ничего, уже скоро. . .

И действительно, вышла сестра, собрала всех в кучу и повела. По бесконечному коридору. В конце коридора была занавеска. Сестра завела их туда и там оставила. В этом закутке ходить было негде. И они стояли, не встречаясь взглядами, независимые друг от друга, незнакомые. Только двое оказались приятелями и оттого, почувствовав себя уверенней, говорили неестественно громко. Это было предназначено для чужих ушей, что они говорили, это было глуповато и назойливо. Пожалуй, они тоже не чувствовали себя уверенно.

Наконец начали вызывать:

— Абельский! Акатов!

— Я. Я. . .

— Раздевайтесь.

Засуетившись, вызванные застенчиво стягивали через головы рубашки, снимали брюки, оставались в трусах. Складывали одежду на стульях. Старались ни на кого не смотреть.

Дверь снова отворилась. Высунулась голова:
— Что вы там копаетесь! А труссы? Труссы тоже, тоже...

Ребята, потупившись, перешагнули труссы и стали какие-то совсем другие, с незнакомыми лицами.

— Болобонов! Бухалов — приготовиться.

Было холодно. Кирилла знобило все сильнее. Никак было не унять этой противной дрожи. Скулы уже ныли, — так он сжимал зубы, чтоб не прыгали.

— Вороненко, Зарембо — приготовиться.

«Скорей бы вызвали... О, черт! Трясет, как собаку. Жди тут. Словно тебя в Италию отправляют». Была бы у него фамилия на «А»...

— Иванов А. А., Иванов А. Б. — приготовиться.

«Скорей бы... И спать».

— Иванов Ф. Ф., Игошин — приготовиться.

«Наконец-то через Ивановых пролезли...»

— Приготовиться...

— Приготовиться...

— Капитонов, Капустин — приготовиться.

«Какой Капустин? Еще один Капустин? Глупость какая! Это же я — Капустин».

— Я.

— Раздевайтесь, не задерживайте.

Кирилл точно так же стянул через голову рубаху. Ощущение было новым: голова, круглая, гладкая, выскользнула из рубахи с удивительной легкостью. Точно так же перешагнул труссы.

Стоял голый. Не знал, как ему стоять голому...

И вот их ввели: его и Капитонова. Этот Капитонов был очень мал и щупл, втрое меньше Кирилла. Зал, в который их ввели, удивлял своим несоответствием делу комиссии: тяжелая и легкомысленная лепка всюду и масса зеркал. Кирилл увидел сразу несколько отражений, своих и Капитонова. Зеркало отразилось в зеркале, и он увидел бесконечную шеренгу больших голых Кириллов и маленьких, но тоже голых, Капитоновых.

Он шел по кругу зала, обходя стол за столом.

То, что за столами сидели одетые люди, а он должен был рассказывать голый, вызывало в нем чувство скованности: как перед фотографом, только сильнее. Некоторое время он был весь в переживаниях голого человека. Желание сохранить достоинство еще больше мешало держать себя просто. К тому же среди врачей были две молодые женщины. Ощущение, что ты стараешься сделать гордое лицо, а сам голый, было совсем глупым.

Первый врач понравился Кириллу. Весь его вид и тон были подчеркнуто доброжелательны. Он вежливо предложил Кириллу сесть. И хотя Кирилл и ощутил всю нелепость этого предложения (садясь, он еще резче почувствовал свою наготу, и клеенка стула была неприятно холодной), он был благодарен этому доброжелательному старику. Старик расспрашивал его про все болезни,

которые с ним случались, расспрашивал со всеми подробностями и великим участием, слушал внимательно, слегка склонив голову набок и подмаргивая добрыми глазами. Старик так расспрашивал, что Кирилл начинал ощущать себя больным. Ему было приятно рассказывать и рассказывать старику все со всеми подробностями, но тот вдруг прервал его на полуслове и, откинувшись, словно удалившись, сказал, и лицо его было усталое и равнодушное:

— Все. Ступайте к следующему.

В Кирилле что-то поднялось и опустилось. Он стоял, снова голый, а потом шел, голый, к следующему столу.

Это была толстая, круглая тетка, очень уютной наружности. Чувствовалось, что она не прекращает делать зарядку и обтираться холодной водой. Живые и веселые ее глаза обшарили Кирилла. Своим бодрым голосом она расспрашивала все больше о том, откуда он, да где учился, да как его выгнали, кто его родители и как они его отпустили. Она охала и причитала, сочувствовала и сокрушалась. Это был интерес матери, с детьми которой никогда такого не может случиться. Кирилл, опять попавшись на ту же удочку, охотно выкладывал ей все, потому что мало кто интересовался этим всем, его прошлой жизнью, а ему она не была безразлична. Но и врачиха слушала, слушала, а потом, словно насытившись, сказала равнодушно-ласково:

— Ну, желаю вам успеха.

И Кирилл почувствовал себя дважды голым, удовлетворив любопытство совершенно чужого ему человека. Досадовал.

Хирург, терапевт, глазник, ларинголог — все это Кирилл проскочил без особых задержек. Он перегнал Капитонова уже на два стола. Капитонова задерживали.

Последним был невропатолог. Эта красивая женщина имела брезгливое и недовольное выражение лица. Кирилл был уже достаточно измучен и разочарован, чтобы почувствовать себя очень сложно перед нескрытым презрением этой красавицы. Он понимал, что, голый, он не в силах сказать что-нибудь путное, остроумное, что привлечет внимание такой женщины. Удручало то, что, даже найди он в себе для этого силы и возможности, это не прозвучит у него, голого, вернее, она никогда ничего не услышит в своей брезгливой убежденности, что тут не может быть ничего, достойного ее внимания. Она говорила отрывисто, в сторону, не глядя:

— Жалобы есть?

— У кого их нет, — сказал Кирилл.

— Перестаньте, — сказала она, поморщившись.

Она стукнула его по коленке — нога дрыгнула. И вытянутые руки дрожали. Все это было сегодня не мудрено. Кирилла всего трясло. Он ничего не мог с этим поделать.

— Перестаньте, — опять сказала она. — Перестаньте вы трястись!

— Извините, — сказал Кирилл, — сегодня я ничего не могу с этим поделать.

— Ну да... — сказала она. — Пьете?

— Да нет... Не пью, в общем...

— В общем... — передразнила красавица. — Курите?

— Курю, — вздохнул Кирилл.

— Мочитесь? Припадки бывают?

— Господи! — сказал Кирилл. — Ну конечно же...

— Ну, ничего, — ядовито сказала красавица, — в армии это у вас пройдет.

Впритык к столу невропатолога был стол председателя комиссии. Этот круглый седой человек повернулся к Кириллу и теперь разглядывал его прозрачными глазами. Кирилл подошел к нему.

— Вы же неглупый и достаточно образованный молодой человек... — говорил он, рассматривая карту Кирилла. — Ну как вы не понимаете, что люди тут на работе.

Кирилл стоял перед столом председателя, голый, и чувствовал себя глупо. Ему нечем было возразить. Говорить про ночную смену и несчастье, выбившее его из колеи, он не мог и не хотел. Это было, впрочем, и не совсем то. Председатель крупным аккуратным почерком стал выводить в итоговой графе: «ГО...» Написав «ГО», он приподнял голову и сказал:

— Вам нужна армия. Вам она просто необходима.

И тем же почерком дописал: «ДЕН». И все это: и то, как он писал, и то, как делал ему замечание, — состояло из безукоризненно-профессиональных движений врача, выписывающего рецепт.

ГО-ДЕН.

И размашисто подписался.

Годен и в авиацию, и во флот, и в пехоту, и в училища, и в танковые части, и в стройбат. Всюду годен Кирилл Капустин.

Вот Капитонов — тот, кажется, никуда не годен.

Слава богу, кончилась эта морока. Не говорил ли он с самого начала: напишите ГОДЕН. — и все? Он оделся и согрелся понемногу. Чувствовал себя даже свежим, даже бодрым какой-то дрожащей бодростью.

Он шел к общежитию и думал о том, как внезапно, и сразу, и все вместе приходят в спокойную жизнь события и потрясения. И все переворачивается. Да, думал он, скучать от спокойной, размеренной жизни нельзя: она так быстро проходит. . .

«Да, время пролетело. . . — думал он. — Полгода, как один день».

И вдруг его поразило, что со времени, когда ему вручили повестку, прошли всего сутки. «Не может быть, — подумал он, — чтобы одни сутки. . .»

С временем началась путаница...

Сначала оно было ожиданием. Завтра, завтра... Так прошла неделя, и ждать надоело — приелось. И с этим привыканием все как бы отдалось в неблизкое будущее: это будет, конечно, но когда-то, не сейчас. И тогда дни потекли так, как текли они и до этого: как один, день за днем. Наступила совсем зима, холода. Работа, Валя, Валя, работа. Прошел месяц, проходил другой. И когда снова пришла повестка, она пришла опять вдруг, так же внезапно, как и в первый раз, так же неожиданно. Хотя что уж тут необычного, внезапного или неожиданного? ..

Послезавтра

Надо взять с собой кружку, ложку...

А остального не захватить с собой...

Не взять раздевалки и шкафчика № 308, который отпираешь своим ключом, а там твоя каска и роба, она была совсем новая и стояла колом, когда получал ее со склада, не взять с собой шуток, словечек, смешочков, перелетающих от шкафа к шкафу, не захватить сложного запаха пота, портянок и одежды, мокрой после смены и сухой, пыльной перед выходом, не пройти бо-

сому, в одних трусах, по деревянным решёткам между рядами шкафчиков, неся на вытянутой руке железное кольцо с нанизанными на него одежками, чтобы сдать их в сушилку толстой и распаренной старухе Марфе, а сдав, не пройти со всеми в душ, не тереть Коле или Сене спину и не гоготать, будя до странности громкое эхо душевой, не выходить потом распаренному, новорожденному на воздух и не идти со всеми в столовую, а потом в общежитие, и не приходиться на рудник рано-рано утром, когда еще дымится от росы земля или новый снег на ней охвачен новым морозом, не приходиться поздно-поздно вечером, когда звезды горят ярко и колюче, не обменивать номерок на лампу и не подниматься по скрипучей крытой деревянной лестнице-эстакаде, не захватить с собой бревнышка, на котором сидел и курил, пока собиралась вся смена, и этих разговоров о прожитом со вчерашней смены дне, не идти потом гуськом по выработкам, не раскачивать лампу в руке, не захватить с собой огромных теней, болтающихся по неровным каменным стенам, не перевезти с собой разрядку, комнату в скале, не вернуть бегущих по откаточному горизонту составов, возникающих светлой точкой в темном конце выработки, и эта светлая точка бежит, растет на тебя, заполняет все, слепит и проносится мимо с лязгом, грохотом, и уносится, не взять, не поймать, не вынести горьковатого дымка отпалов, расползающегося по выработкам после взрыва, воя вентиляторов и той струи воздуха

из вентиляционного ствола — против нее так трудно шагать, не захватить с собой, не захватить с собой, не захватить с собой, не захватить с собой, не захватить с собой, не найти такой тишины, такой темноты, только здесь, только здесь, Коля мой, Коля, не захватить с собой дрожи стен, дрожи земли под ногами от взрывов где-то невдалеке, не захватить и самих темно-серых каменных стен, неровных и влажных, по ним сбегают, как испарина, струйки, а осветить лампой — какой там серый! — искритса, сверкает, не взять с собой, не взять перекуров, разговоров — о чем? не скажешь, мудрости — в чем? — не поймешь, не захватить темной, сырой, живой массы добытой породы, прущей из люков, первобытной, животной ее силы и того звериного рыка, который раздается из темной пасти, откуда течет руда, мокрая, шевелящаяся, как лава, этого действительно рычания породы, мягкого, страшноватого — голоса земли, не захватить, не взять перекуров, перекуров, их степенности и серьезности и того, чего-то простого и понятного всем, что присутствует при этом, ни их веселости, смеха, ни тебя, Коля, ни Васи, ни Пети, ни того момента, когда кончается смена и идешь, идешь вверх, вверх — домой, идешь, а потом выходишь и — боже мой, небо, солнце, мир! — и щуришься, щуришься, как светло на земле! словно ты родился еще раз и еще раз, и пьян почти, — все это надо оставить.

Все это превращается в подписи на бегунке.

Сам того не замечая, Кирилл разговаривал вполголоса и даже шепотом, когда объяснял сестре, к кому он пришел, и сестра говорила, что нельзя, а Кирилл — что он узнавал и уже можно; сестра звонила по телефону и сказала, что да, действительно, уже можно, но до того было долго нельзя, потому что больной был очень слаб, но теперь можно; она просто не знала, что уже можно. А когда Кирилл надел халат и, усвоив, как пройти, стал подниматься по лестнице и потом шел по длинному коридору, — у него была уже другая походка, другая фигура и даже другое лицо.

Больница была новая, по последнему слову. Много стекла и много белых стен. Тишины, чистоты, белизны и света — всего этого было очень много. И больше ничего не было. Не было видно и людей, а если и появлялась какая сестра, то прошмыгивала такой неслышной тенью, что трудно было представить, была ли она на самом деле или ее на самом деле не было.

Кирилл шел другой походкой по бесконечному коридору, мимо одинаковых дверей, отличавшихся только номерками вверху, и эта одинаковость делала коридор еще более бесконечным. Лицо у Кирилла было другим и от общей скованности и неестественности, незаметно начавшейся, как только он переступил порог больницы, и оттого, что он чего-то ждал. Это ожидание не было выражено конкретно в том-то и в том-то. Тут и то, что на работе Коля — самый близкий ему чело-

век, и то, что Коля спас его однажды, а позднее пострадал сам, и то, что Коля был долго плох, хотя теперь ему и лучше, и то, что Кирилл боялся увидеть, что Коля все-таки плох, и надеялся, что ничего, и то, что он боялся не увидеть, не узнать Колю, как не узнал в свое время бабушку, когда навещал ее в больнице, и через неделю она умерла, и он сам со своей болью, со своими мыслями, надеждами и неладами — все это, неясное, неразделенное, невыраженное, было вместе и называлось ожиданием чего-то.

К тому же сегодня было солнце, когда он шел сюда, и снег слепил, небо синее-синее и воздух острый, кристальный — слишком хорошая погода. . .

Воздух в больнице был теплый, но в меру, абсолютно чистый, в меру сухой и влажный — целиком продуманный воздух. Индивидуальным был запах. Правда, он был значительно слабее, чем в других, более старых больницах, в которых бывал Кирилл. Этот чуть слышный лекарственный запах был тем тревожнее и острее. Казалось, он то слышится, то нет.

Бесконечный коридор, словно шаг на месте мимо одной и той же двери, и только мелькают номерки на дверях, возрастая на единицу.

57.

Кирилл приоткрыл дверь, просунул голову. Увидел небольшую палату, такую же светлую, чистую и пустую, и в ней шесть коек. Койки ничем не отличались. Кирилл стал переходить взгля-

дом от одной к другой и вдруг услышал свое имя. Это было так тихо, что можно было скорее угадать, чем услышать, но Кирилл уже подходил к одной из коек. Он подходил к ней и уже ясно видел что-то неестественное, громоздкое, распиравшее белоснежную простыню.

И Коли там не было.

Это было настолько точное ощущение, что его там не было, что Кирилл, не сознавая, неожиданно громко позвал:

— Коля!

— Да, Кирюша... здравствуй... проходи... садись... возьми табуретку...

Тогда он увидел, что это громоздкое и есть Коля, только он был там, внутри, как в раковине, и видна была только маленькая и сухонькая его голова с паутинкой серых волос на лбу. Это был Коля и не Коля.

Кирилл сел на табуретку.

— Вот... — сказал Кирилл. Он не знал, что делать дальше, что говорить, и деревенел.

— Расскажи, — сказал Коля.

— Вот тут апельсины... А тут ремешок...

— А, ремешок... — сказал Коля. — Часы-то мои встали.

— А что с ними? — не успев подумать, уже спрашивал Кирилл и сразу же злился на себя за глупость и никчемность вопроса.

— Не знаю, — сказал Коля. — Стукнулись, наверно.

Помолчали. Кирилл разглаживал колени.

— И я вот встал... — сказал Коля. — Как часы...

Кирилл не знал, как вести разговор об этом. И сразу вставала его не совсем понятная вина перед Колей. И ему хотелось отвлечь Колю от этого разговора.

— Ребята, — сказал он, — все о тебе вспоминают. Шлют тебе привет. Скоро найдут.

— Да? Спасибо. Расскажи, расскажи...

Это «расскажи» прозвучало спокойно и равнодушно. Казалось, Коле это не было интересно. Но Кирилл был рад как-то начать разговор.

Он рассказывал про то, что Вася женился и какая была свадьба, а Сеня-старый снова разругался с женой, что им на участок дали новый электровоз и это очень хороший электровоз, что Кнюпфер ушел в отпуск...

— Да... — сказал Коля вне всякой связи. — У меня вот тоже... Мне доктор обещал, что еще месяц — и все будет в порядке. Они ждут новое средство...

И Коля говорил с оживлением, даже с горячностью, об этом средстве, которое мы ждем со дня на день, и какое это замечательное средство, какие оно дало уже замечательные результаты, но только его еще очень мало и достать его трудно, но к нам оно придет уже точно, и мы ждем его со дня на день... и как оно быстро поможет ему, потому что пока он чувствует себя еще неважно, что, вот, болит... Он с легкостью оперировал медицинскими терми-

нами, и это звучало странно в его устах. И он снова говорил о средстве, которого все мы ждем со дня на день. И говорил «мы», «нас» — о больничных, и «они», «их» — о ребятах, и это было тоже странно.

Кирилл томился и ждал, чтобы как-то вклиниться и попытаться переменить тему.

— Да, это здорово, если средство... — сказал он. — А я вот послезавтра уйду.

— Куда? — безразлично спросил Коля.

— В армию... — Кирилл удивился, что Коля забыл об этом.

— А!.. — оживился Коля. — Ты говорил, помню. Я ей восемь лет отдал. Прямо из срочной, последний год уже шел... и на фронт. До самого Берлина. А потом еще восемь... Да я тебе рассказывал... А потом уже гора. А теперь — вот. Вот и жизнь.

— Да что ты, Коля! — сказал Кирилл. — Мы еще вместе поработаем, когда я вернусь.

— Может быть... Может быть. Да ты и не вернешься. Ты учиться пойдешь. Ты учиться иди. Неученому теперь — что. Не горбатиться же тебе, как мне...

— Жизнь длинная, — сказал Кирилл неуверенно. — Что загадывать.

— Не говори — длинная. Это ты не знаешь еще. Мелькнет — и нет ее. Это только каждый день длинный, а жизнь — пустяки, глазом не моргнешь.

Кирилл не нашел, что сказать.

— Я вот все лежу, — сказал Коля, — не шевельнуться — все думаю. Думал, что умру, — так что думал много. И подумал я, что все люди жизнью своей недовольны. Им все кажется: не такая у них сегодня жизнь, а настоящая — завтра начнется. Им все кажется, что это пока, а должно быть — другое. А другого — не будет. Так и умереть можно — все ждут и ждут, и ни одного дня своего вроде и не жили. Всем кажется: есть какая-то «особая» жизнь, а сейчас — так себе, притворство. Может, это только мне кажется?.. Меня все гнуло — я все снова пережить хотел. Слишком много было лишнего. Иначе вроде все могло бы быть... Но вот я думал — и это прошло. Вдруг я понял, что не в обстоятельствах дело. Видел я мало, потому что плохо видел и мало любил. Жизнь всюду одна — так мне теперь кажется. Я не знал хорошей жизни, но теперь припомнить — все у меня было: и любовь, и вино, и товарищи... а уж рабо-оты! И свобода была, и горе... Все было. Может, чего-то побольше, а чего-то поменьше, чем надо, но все это было. И вроде бы как и у людей — настоящее. Вот я и думаю теперь, что понимать это — и есть свобода.

Кирилл удивлялся. Ему казалось, что это и есть то самое, о чем он думал все последнее время.

— Я так тоже думал, — сказал он.

— А иногда я думаю, — сказал Коля, — что, может, и не так все это, что я тебе сказал...

Может, и не так. Может, что вино было похуже, и бабы понекрасивей, и вкалывания побольше, и свободы поменьше — может, это и худо, думаю. Думаю, может, чтобы все это было немного получше — в этом и смысл? Может, я ничего-то на свете и не видел, раз все у меня было чуть похуже? Только похуже чего? А, Кирюша?

Теперь Кириллу казалось, что не то, а именно это и есть то самое, о чем он думал. Но он хотел успокоить Колю:

— Да нет, Коля. Это сначала ты правильно сказал...

— Нет, это ты, наверно, еще не знаешь... — говорил Коля. — Подумать только: попасть в беду человеку надо, чтобы он думать начал! Словно я и не думал ни разу до этого...

— Ничего, Коля... Все еще будет хорошо... — не слишком уверенно сказал Кирилл. Он думал, о чем бы ему рассказать, но в голову лезли какие-то и вовсе глупые мелочи, случайности. И он уже понимал, что даже главные события — это не то, что надо сказать сейчас Коле. Что Коле необходимо что-то иное, какое-то особое участие. И он, любя Колю, не мог найти этих слов. Только мелочи. И он ничего не сказал.

— Да... — сказал Коля. — Хорошо, что у меня теперь другой доктор. Девчонка — какой она врач! А теперь настоящий доктор...

И он говорил с раздражением про прежнего

доктора, который был, когда ему было так плохо, и ничего не умел сделать, чтобы ему было хорошо. И говорил хорошо про другого доктора, который появился — и ему стало лучше, и теперь уже доктор говорит: через месяц все будет в порядке, — потому что это очень хороший доктор, и он достанет Коле средство буквально со дня на день...

Кириллу очень хотелось сказать наконец то, что надо Коле. Но он никак не мог найти слова сочувствия; то ему казалось, что они будут вялыми и равнодушными или надуманными и фальшивыми, то казалось, что они заденут Колю или испугают, и к тому же ему хотелось, чтобы Коля хоть ненадолго забыл о своей болезни, и это будет ему полезно. И он уже чувствовал, что именно эти слова ему и надо сказать, обычные, затертые, жалостливые. Что они-то, и никакие другие, нужны сейчас Коле.

А в словах Коли появилась обида. Большая обида, что ему больно. Он жаловался, где у него болит и как. И что вот все придумывают и летают, а не могут придумать, чтобы не было больно. Что все это случилось с ним, а с другими и с Кириллом — не случилось, и вот он, Коля, болен, а другие с Кириллом — живы и здоровы.

И так как Кириллу все было не сказать тех хороших слов по чувству, которое нес он сюда с собой (словно он разучился говорить с Колей, такой здоровый с таким больным, словно разные они люди, на разных языках...), он сказал:

— Ты постарайся, Коля, меньше думать об этом...

Коля, словно очнувшись, словно поняв что-то, посмотрел на Кирилла.

— Очень ты молодой... — сказал он. — и здоровый. Ну, иди... Спасибо, что попрощаться зашел. Счастливо тебе служить. Иди, иди. Я устал.

И сразу как-то удалился во взгляде, закрылся, ушел в свою гипсовую раковину...

Кирилл ощутил себя только на улице. Прошло, оказывается, совсем немного времени. Еще не скрылось солнце, и снег слепил, и синее-синее небо, и воздух острый, кристальный. Кириллу стало радо жно. Ему было совестно и неловко своей радости, но он ничего не мог с ней поделаться.

Он думал о том, что болезнь — наибесмысленнейшая вещь для живого человека, вредная и подлая вещь. Что болеть нельзя. И радовался своей молодости,

Внизу, у тети Веры, лежало письмо, адресованное ему, Кириллу Капустину. Он повертел его: почерк был круглый и незнакомый. Штемпель — ленинградский. Подпись неразборчива.

Вскрыл.

Это было Мишкино письмо.

Какие-то далекие вещи писались где-то далеко...

Это ужас, до чего всем им сейчас туго приходится. Сессия на носу. Чертежи, курсовые... Завал. А тут еще влюбился некстати. И он просто счастливчик, Кирюха, что ушел от всего этого... Надеюсь, ты на меня больше не сердись и мы снова друзья, писал Мишка. Очень жаль, что они не смогут пойти вместе в турпоход на лыжах на зимние каникулы. А вообще — тоска, хандра. Состояние очень тяжелое... И т. д. и т. п.

А в конце — еще приписка. P.S., так сказать. Обращение к Кирюхе, как специалисту и теоретику по всем вопросам:

«Не думал ли ты, какую цель преследовал Роден, изобразив Гюго голым? Я довольно долго ломал голову, но безуспешно. Напиши свои соображения по этому поводу.

Большой тебе привет от Боба. От него всяческие поклоны».

От какого Боба?.. Боба-боба... Какие у меня соображения по поводу того, что Гюго изображен голым? Надо же, никаких... Может, это и не Гюго вовсе?.. Если бы Мишка был здесь, то пришел бы ко мне и просидел бы весь день, считая, что помогает мне пережить отъезд!.. И мы бы поговорили о голом Гюго.

Голый Гюго?.. Гюго. Голый. Подумать только... Голый Гюго!!

Рабочий день подходил к концу, и Кирилл пошел встречать Валю.

Завтра

Последний день Кириллу хотелось провести наилучшим образом.

Всегда хочется уйти чистым, оставить после себя все в образцовом порядке, стать на этот день своим собственным, ни разу не достигнутым идеалом, стать голубым во всех отношениях.

Хочется заплатить всем долги, сделать всем визиты и написать всем письма.

Вымыться, выбриться, переменить белье и разобраться в хламе.

Надеть чистую рубашку.

И открыть форточку.

Чтобы ветер гулял по комнате, шевелил занавески и гонял по полу последнюю ненужную бумажку.

Даже бегунок — эта нелепая необходимость в последний момент обскакать все на свете — даже бегунок по-своему нужен.

Надо, надо... Словно бы действительно так уж необходимо отыскать эту книгу и сдать ее в библиотеку или заплатить коменданту за разбитое стекло или пропавший чайник.

Надо написать домой хорошие письма...

Хочется оставить после себя все в полном порядке... И это никогда не удастся.

Завтра надвигается и гипнотизирует. И сегодня становится все торопливей и бестолковей.

Кирилл делал зарядку, бегал в лесопарк, мыл-

ся, брился, переодевался, прибирался и упаковывался, такой деятельный, образцовый.

Потом вдруг взглянул на часы — обмер. Так быстро и бессмысленно, казалось ему, пролетело драгоценное время. И заспешил, заспешил... Суетился — и никак ему было не остановиться. Какие-то ненужные, посторонние, чужие дела вдруг набежали, окружили, затормошили. Выколачивать, например, комендантше ее ковры в последний день — это же пытка! Но он выколачивал их целый час — выполнял давно данное и всегда откладываемое обещание. Все дело в том, что откладывать на завтра ничего уже было нельзя. И он, такой выглаженный и чистый, весь пропылился от этих ковров.

А ведь последний день... Надо спешить к Вале, надо прожить этот день так, чтобы остался он прекрасным воспоминанием... Как это делается, прекрасное воспоминание? Он разучался нормально двигаться и говорить, видеть и слышать, когда задумывался над этим. Разучался жить как жил, не задумываясь, день за днем.

Ведь день-то последний! А вечером еще отвальная... А ему хотелось одного: остаться наедине с Валею эти последние часы — и больше уже никого не видеть. Но он не отказался от отвальной. Наоборот, бегал и суетился — организовывал. «Кому это нужно?» — временами лишь думал он.

И вот наконец ковры выколочены, отвальная кое-как организована, и он больше не станет так глупо терять время. Он идет к Вале.

Город идет ему навстречу. Это уже совсем другой город. Ленинград он знал и зимой и летом, и днем и ночью, и не удивлялся его переменам: это был всегда один и тот же город. А в этот город он приехал летом и запомнил его летним, этот полярный город. И город этот, став зимним, был ему незнаком и неузнаваем. Солнце садится, а ведь оно только взошло. Косые лучи бьют в лицо и не греют. А кругом все искрится под солнцем: крыши, над ними горы, над ними — небо. И озеро ледяное, белое. И воздух морозный, в иголочках. Идут навстречу люди, меховые, толстые. Идут навстречу женщины и несут сетки и сумки с картошкой, с булкой. И совсем молодые девочки идут ему навстречу... Идут навстречу, и никто не подозревает, что завтра его, Кирилла, не будет здесь. А куда он уедет, он еще и сам не знает. Идут навстречу люди — и не знают ничего о нем. Смеются, разговаривают, торгуются — и не знают. А завтра они не будут знать, что он, Кирилл, уехал. А жизнь идет, спешит. И там, куда он едет, не знают, что он едет туда. А он будет там жить. Трудно представить даже, где только люди не живут! И всюду они трудятся и любят. И всюду они приживаются. Как прижился он здесь. Как приживется на новом месте. Одним человеком больше, одним меньше... И снова больше. Может, вот он, Кирилл, уедет завтра и завтра же сюда приедет его двойник — и ничего не изменится. А если оттуда, куда он едет, тоже срочно выезжает его двойник и стремится

сюда — то они просто меняются местами, поэтому никто и не замечает.

В общем-то никто никого не ждет.

И надо идти со всеми.

Это утешительно и спокойно.

Хотя это еще очень мало.

Конечно, трудно выделить себя среди всех — так неопытен человек по рождению своему: все повторяет чьи-то зады, прежде чем становится самим собой. И, наверно, выделить себя среди всех и осознать себя и свою жизнь никак не возможно, кроме как совершенно смешавшись и растворившись с остальными... Но так становится тогда хорошо и покойно: вот я, как все, и со всеми, — что можно и остановиться на этом, успокоившись. А что ты сам среди всех? — остается неизвестным. Не растворившись, не выделить себя — из чего же себя выделять, если ты один? Но и раствориться — это только еще этап и никакое не достижение. И преждевременны разговоры о наконец-то окончившемся, столь затянувшимся детстве Кирилла Капустина — даже если кончилось, ну и что? Пройдут годы — придет посеревшая зрелость, а зрелости не будет в помине. И рано говорить о благотворном влиянии производства на юную душу, о том, что так находят свое место в жизни. Это тоже только этап, и не так его находят, это место. Главным по-прежнему остается твое отличие от других, чем ты нов и несовместим с другими, то есть что ты принес в эту жизнь. Главным остается: ты сам среди

других и с другими, а не такой же, как они.

Ничего еще не достигнуто. И никаких гарантий, что, растворившись, не успокоится он и выделит себя из всех, — нет. Будет ли такой зрелый человек Кирилл Капустин? — никому не известно. И радостный ли это момент — прощание с детством, которому пора было состояться много лет назад и которое было отодвинуто и отложено по не зависящим от Кирилла обстоятельствам, — тоже неизвестно. Остается: любящим — верить в него, остальным — надеяться.

Он был семенем, стал травой, а расти надо в небо...

Они сидели у Вали. Вернее, сидела только Валя. Она поместилась в углу дивана, поджав ноги, и следила за Кириллом. Кирилл то садился с ней рядом, то садился напротив, вскакивал, бегал по комнате, переставлял собачек на комод... Включал радиоприемник и, покрутив и не поймав ничего, выключал, ходил по комнате, целовал Валю, садился с книгой, полистав, бросал... Чинил утюг — не починил... Вдруг подошел к столу, приподнял чайник, заглянул, что под ним...

Под чайником ничего не было.

— Что мы торчим тут и теряем время! — воскликнул он. — Пошли хоть куда-нибудь...

— Сам и теряешь, — холодно сказала Валя. — Посиди хоть минуту спокойно.

— Да ты понимаешь, что у меня последний день! — возмутился Кирилл.

Валя вздохнула и нехотя поднялась с дивана. Они побродили по городу напряженно и молча и оказались в кино.

— Этого еще не хватало! — зудел Кирилл. — Мне остались какие-то часы, а тут смотри всякую дрянь...

Но когда обнаружил, что до начала сеанса им ждать почти час, он ни за что бы уже не согласился пропустить этот фильм, и он говорил с досадой, что приходится ждать:

— Вот всегда так... Всегда со мной так. Автобусы только что отошли, а новые не подходят, сеансы только что начались, магазины закрыты на обед, — и вообще выходной день!..

Валя молчала с холодной покорностью.

Они простояли в фойе, не разговаривая и все больше злясь друг на друга.

Картина сразу же не понравилась Кириллу. Он ерзал в кресле.

— Надо уйти, — громко шептал он Вале, — жалко времени...

— Пошли, — соглашалась Валя.

И он продолжал сидеть, возмущаясь фильмом.

— Надо уйти, — шептал он. — Встать и уйти.

И продолжал сидеть.

— Ну вот, потеряли три часа, — сказал он, когда сеанс кончился. — Да я, будь у меня вагон времени, не стал бы сидеть! А тут на счет каждой минута... — говорил он, имея в виду, что

она, Валя, помешала ему уйти сразу, что она завела его в это кино, что из-за нее он потерял сейчас три часа, которых было два, и многое другое, чего он даже сам не имел в виду.

Его носило по городу, как осенний лист. Вот он слетел — он уже не принадлежит дереву, он уже не лист. И носится по асфальту, не в силах понять, что с ним случилось...

Они шли к кому-то, кого обязательно надо было повидать перед отъездом, и не заставляли его, а встречались с кем-то другим, кого и видеть-то не хотели, и долго с ним разговаривали и спорили о чем-то, что никого из них не волновало, — тем более спорили.

Потом они ждали автобуса. Его, конечно, долго не было.

— Ты меня завтра не провожай, — говорил Кирилл. — Простимся сегодня. Не все ли равно, когда? Сегодня или завтра... Зачем мучиться понапрасну?

— Три года ждать... — говорил он. — Разве можно утверждать что-нибудь на три года вперед? Ты не жди. Писать? Зачем? А потом вдруг перестать? Лучше не надо с самого начала. Уходить — так уходить сразу. Надо уметь хлопнуть дверью и уйти. К чему плакать на вокзале? Ничего уже этим не продлишь...

— Ну вот... И дурак уже... — говорил он. — Тем более не надо меня провожать. Ты говоришь, это твое право? Твое право: проводить или не проводить, писать или не писать, ждать или не

ждать? Ладно, твое... А вот у меня есть право уйти или не уйти?.. Я ведь тебя люблю — разве бы я от тебя ушел? А раз надо уйти, то надо уметь уйти...

— Ну и не люблю, — говорил он, — ну и ладно! Подумаешь... Так даже легче... Это ты меня не любишь!..

— Люблю я тебя... — как-то устало сказала Валя.

— Что же ты делаешь такое лицо! Нарочно хочешь мне испортить последний день?.. Ну, зачем, зачем, спрашивается, скрывать? Скажи прямо: так и так, и ненавижу! Ну, скажи же!.. — почти упрашивал он. — Жалеешь? Думаешь, последний день — можно и потерпеть?.. А там — уедет... Ты думаешь, я ничего не вижу?..

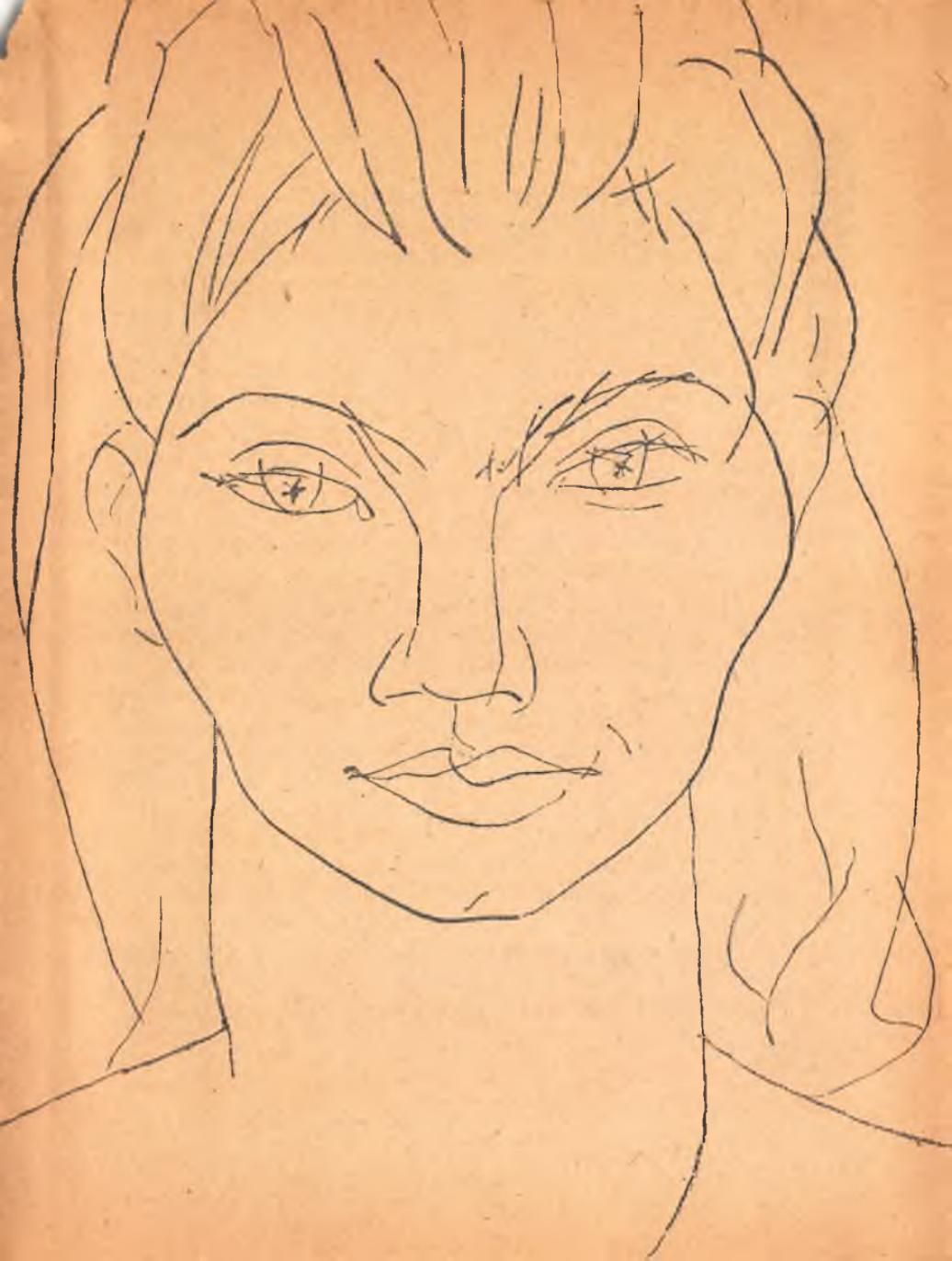
И так ему было плохо, так плохо... Он чувствовал отчуждение от Вали, от города, от самого себя, он не хотел этого отчуждения... Злился на себя, а выходило — на других. Хотел перестать — и все более отчуждался. Так просто казалось: вдруг рассмеяться, сказать хорошие слова — но отчуждение росло и ширилось; он словно был не властен и бессилён, и не мог сопротивляться... как во сне. Он удалялся, таял, уменьшался — и вот он уже не он — точка, крохотная, удаленная точка отчуждения, которая сейчас и совсем исчезнет.

День — такой день! — приходит к своему концу... Кирилл видел, как все это бессмысленно и ненужно, то, что происходит с ним. Он не мог

больше мучить Валю, себя, был противен самому себе, но, где-то себя потеряв, так и не мог найти и взять себя в руки, и прекратить... и тогда все еще умножалось от бессилия, уже назло всему и самому себе, и развивалось по странному и дикому чувству «назло»... И он не мог остановиться.

Он искоса поглядывал на Валино лицо; усталое какой-то душевной скукой, и эта скука — он, Кирилл. Он видел это лицо — и восставал против себя, так было нельзя, он ненавидел себя — и продолжал говорить назло. И видел, как отдалека и отдалека Валино лицо... Какая-то уже стена между ними, что-то непробиваемое, защитное, непроницаемое, и так хочется пробить ее, растопить этот лед собственными руками, дыханием. Ведь последний их день... Последний. Он мучился, чувствовал свое бессилие перед этой, им же возведенной стеной и возводил, возводил эту стену. Это было одновременно падением: все быстрее, быстрее — и уже перехватывает дыхание.

— Ты сама! Ты сама... — по странному наитию обвинял он Валю во всем, в чем чувствовал себя виноватым сам. И ощущая злую несправедливость своих слов, видя, как страдает от них Валя и как бы не давая себе увидеть это, он говорил все резче, жесточе, несправедливей. Словно торопясь поспеть куда-то, заканчивал он работу, которую обязательно надо было сделать, прежде чем уйти: клал последние кирпичи в стену, разделявшую их.



— И уйду! Не нужен — и не надо! Обойдусь.
И уйду!

Надо уметь хлопнуть дверью...

И вот он настоял. Хлопнул. И вздрогнул: так поспешно звякнул за ним крючок и задвижка, — на все запоры... Умеешь уйти — уходи. Он понял тогда, что говорил в надежде, что его будут отговаривать, упрашивать, что выбегут за ним без пальто... И вот он стоит, оторопелый, за дверью, словно пораженный неожиданностью того, чего добивался весь день... И дверь за ним заперта. Раз умеешь уйти — уходи. Уходи! Уходи!! И вот звякнул крючок — и не возвращайся...

Он стоял на площадке и смотрел на дверь и видел перед собой Валю, как видят какое-то время яркое пятно, хотя уже не смотрят на него. Он стоял и смотрел на дверь и видел бесконечную стену, ровную, высокую, непроницаемую. Он сам ее построил. И словно все силы ушли на ее возведение — сломать ее сил уже не было. Нигде не было щели... Валя таяла и удалялась. Оставалась стена. И он стоял один перед этой стеной, и она рушилась на него и раздавливала... И ее уже не было, этой стены. Ничего он не мог вспомнить из того, что произошло. Что, собственно, произошло? Почему они — врозь и он не может уже вернуться? Из-за чего? Что за бред...

День, который надо было прожить прекрасно. День последний. Их с Валею день. День сжался — и нет его. Словно лопнул воздушный шар, такой

красивый и круглый. Лопнул — и нет его. Осталась маленькая сморщенная шкурка... День, который так хотелось прожить хорошо... И прожить его хорошо оказалось всего труднее.

Сегодня

Проснулся чумной, непонимающий. Звенел будильник оголтело, судорожно. Кирилл шарил по тумбочке, чтобы схватить, придушить его. И рука не находила, а будильник все звенел и звенел, уже целую вечность. Требовательный звон бился об стены, заполнял уши, череп, комнату. Кирилл пытался понять, откуда звон, но тот метался, рассыпался, и было не понять.

Кирилл нащупал рукой выключатель. Приятный, желтоватый, как спитой чай, свет с трудом осветил комнату...

Бутылки на столе. Тарелки с окурками. На койках, разбросав руки-ноги, парни в безжизненных позах. Никто не слышал будильника, и лишь один промычал во сне.

И тогда мгновенно все вспомнилось, и стало ясно Кириллу: отвальная, которой он так не хотел и которая все-таки была... На ней не было Вали, потому что... (Кирилла передернуло.) И будильник... Он сам, подвыпив, завел его вчера на все обороты и поставил в шкаф, а шкаф запер. Чтобы проснуться наверняка, а не сунуть будиль-

ник под подушку и спать дальше. Будильник был здоровенный будильник, с блестящей шляпкой: он звенел пронзительно. А тут, в шкафу, фанерном, резонирующем, — трещал, как пулемет. Кажалось, он прыгал там в неистовстве на фанерной полочке рядом с чайником, и чайник кипел с ним вместе, и чокались кружки...

Кирилл прошлепал к шкафу, судорожно дернул дверцу... Метнулся назад, нашарил под подушкой ключ. Но будильник вдруг ослаб, звон его стал тише и реже, и было уже слышно, как он распадается на отдельные звоночки.

«Прощай, труба зовет...» — пропел про себя Кирилл и проснулся окончательно.

Он посмотрел на притулившийся в углу рюкзачок, собранный с вечера. Клапан, кармашки, ремешки с пряжками образовали нестрашную морду.

— С добрым утром! — сказал он морде и потянулся за брюками.

Ребята спали в тех же позах.

«Странно, — думал Кирилл, одеваясь, — странно... Вот они ведь даже не слышали... Значит, я спал не совсем. Значит, где-то я знал, что встать мне надо...»

Пока шел к военкомату, Кирилл очень замерз. «Сейчас бы под землю... — подумал Кирилл. — Согреться. Если летом под землей было холодно, то зимой — тепло...» Он услышал крики, они

легко неслись по неживой и свободной в это время улице. Он шел на эти крики и пришел к ним.

Несколько парней стояли у входа и горланили с растерянным ухарством:

Как родная меня мать рожала...

Вразной, перевирая. И, чтобы не было стыдно, орали все громче. Старались быть гораздо пьянее себя — и поэтому были пьянее. Они казались довольными собой.

Кирилл миновал их и очутился в вестибюле. Тут уже было много народу. Но было неожиданно тихо. Стояли группками и переговаривались почему-то шепотом. Все было освещено одной слабой лампочкой и терялось в тени. Поэтому, может, и хотелось говорить шепотом. Кирилл огляделся: все лица были незнакомые. Валя конечно же не пришла... И это была целиком его вина. Все были с кем-то, Кирилл — один. Стоять вот так, в центре, одному было неуютно и как-то неопределенно. Эта неопределенность толкала куда-то идти и что-то делать, не стоять. Но идти было вроде некуда и делать нечего тоже. Он без всякой цели стал подниматься по лестнице. Он поднимался, и по стенкам лестницы, на ступеньках, тоже стояли, вытянувшись как бы в очередь. Стояли все больше парами. Голова поднималась над головой. Все — с кем-то. Каждый кому-то дорог. Нужен... О черт! Как это плохо одному... Неужели не придет? Уметь хлопнуть дверью... Что тут уметь?! Не придет.

Он поднялся до площадки и стал спускаться. Что это за дьявольская суета овладела им вчера, думал он, поглядывая на пары с ревнивой завистью: тем не было ни до кого дела. Да разве можно все успеть? Разве можно построить день из ума и чтобы он получился? Он мог получиться только сам собой, если бы Кирилл тому не мешал. Да и кому это нужно: успевать, спешить, рвать? Успеешь ты одно или десять — все равно ты успеешь одно или ничего. Вот он не успел ничего... Разве время возможно терять или не терять? Можно жить или не жить. Если жить — разве может быть речь о потере времени? А если не жить — то его и вовсе нету. И Валя не пришла...

— Друг, а друг? — кто-то тянул его за рукав. Кирилл обернулся и увидел маленького паренька в длинном плаще и лондонке, натянутой на лоб и на уши. Он не знал его. Он вдруг подумал, что это Капитонов; бесконечные голые их отражения вспомнились ему... «Почему он здесь? — подумал Кирилл. — Ведь он же не прошел комиссию?..»

— Не помнишь? — сказал паренек и улыбнулся заискивающе. — Это я тебе повестку принес...

— А... — сказал Кирилл. — Ну и что?

— Так... — неуверенно сказал паренек, уже без улыбки. — Принес, и все.

— Молодец... — сказал Кирилл. — Ты молодец. — И он отошел от паренька.

— А я смотрю: знакомое лицо, — нагнал его паренек. — Дай, думаю, подойду. Все равно стоять ждать... Меня вообще-то все Звонком зовут, а я Петр. Я вчера знаешь как напился! Там Мишка Брохин был с гитарой, знаешь Брохина?

— Нет, — сказал Кирилл.

— Люська, баба моя, знаешь как поет!.. — говорил паренек детским своим голоском.

«Баба у него!..» — усмехнулся Кирилл и взглянул с любопытством.

— Не веришь? — торопливо говорил паренек. — Честное слово! Она меня просила, умоляла, а я ей: «Не провожай, говорю. Очень нужно на слезы мне смотреть...»

«И смех и грех... — подумал Кирилл. — Неужели я такой же? Или это вчера был не я? И плел то же самое не я?..» А паренек все говорил и говорил, и слова его уже сливались для Кирилла, и он не слышал их. «Действительно Звонок», — подумал он.

Кто-то негромко начал песню. Рядом поддерживали еще двое. Но остальные не пели, слушали. Песня была самая обычная, тыщу раз слышанная. Кириллу она раньше не нравилась, казалась дешевой. Но тут он услышал ее.

— Помолчи, Звонок, — сказал он пареньку, и тот покорно смолк.

Ты рукой мне махнула с откоса...

Что-то защемило у Кирилла в груди, подкаатило и отхлынуло. Глаза подернулись, и он пло-

хo видел перед собой. Старался, чтобы не скатилась слеза. А песня все забирала его, забирала именно тем, что казалось ему наивным, глупым и дешевым. Именно это стало настоящим сейчас. Он этого не знал раньше и не узнавал поэтому.

Руку жала, провожала...

«О господи! — взмолился Кирилл. — Хоть бы пришла... Неужели так трудно простить!»

Дверь на площадку распахнулась, вышел капитан с красной повязкой на рукаве.

Провожа-ала, провожа-ала-а...

Последнее «а-а-а» повисло в воздухе, повисло, и песня вдруг оборвалась.

Капитан сказал:

— Призывникам собраться и пройти в дежурную комнату.

Не хотелось. Хотелось стоять вот так на лестнице и молчать.

Но вот, помедлив, оторвались от стенок парни. Кто-то бросился их целовать и плакать, кто-то замер, смотрел им вслед. Парни медленно поднялись и прошли в дежурную комнату, а капитан прошел последним, закрыв за собой дверь на защелку. У Кирилла было ощущение, что он едет куда-то, что уже отходит поезд, удаляются фигурки провожающих, и вдруг обрывается платформа...

Они сидели боком о бок по трем стенам комнаты и молчали. Каждый сидел как бы отдельно.

Они рассматривали досаафовские плакаты, в изобилии развешанные по стенам. Теперь все были разлучены, и Кирилл испытывал даже что-то вроде облегчения: он теперь как бы сравнился со всеми, потому что тут уже было не понять, кого ждут там на лестнице, а кого — нет.

А Звонок все крутился сбоку, не находил себе места. Он поворачивался то налево, то направо, смотрел по очереди на каждого из ребят, желая поймать чей-нибудь взгляд и заговорить. Но никто не хотел встречаться с ним взглядом и говорить, все смотрели перед собой, словно что-то там перед собой видели и боялись упустить. Кирилл думал о Вале, и Звонок раздражал его и отвлекал. Кирилл сидел с каменным лицом и не смотрел на Звонка, будто не узнавал. Звонок, не поймав ничьего взгляда, поглядывал на него как на предателя. Он крутился и наконец, махнув рукой на то, чтобы привлечь чье-либо внимание, заговорил громко, обращаясь как бы к Кириллу.

— Вот ты говоришь, бабы... — сказал он, хотя Кирилл ничего такого не говорил. — Бабы — они... — Голос его, возбужденный, восторженный, покотился по комнате, и он с любопытством перебегал с одного лица на другое, стараясь увидеть, какое произвел впечатление. Но никто словно бы не заметил, и впечатления он не произвел, а Кирилл, испытывая все большую неловкость от его соседства, и вовсе на него не смотрел. И Звонок, не получая поддержки, говорил без всякой

передышки и все громче про того же Брохина с гитарой, о неизмеримой водке, которую он вчера выпил, нес какую-то похабень. Резкий и звонкий его голосок носился по комнате, и Кирилл не слышал уже отдельных слов, а только шум, производимый Звонком, назойливо лез и лез в уши. Заполнял комнату. И уже непонятно, откуда шум, и кажется — со всех сторон. «Как будильник...» — вспомнил Кирилл.

— Слушай, Звонок, заткнись... — сказал кто-то резко и зло.

Звонок замер на полуслове и растерянно озираясь. И тогда показался таким маленьким, что все раздражение против него исчезло в Кирилле и ему стало жаль Звонка. «Нельзя так резко осаживать людей... — думал он. — Вот ведь... судьба. Звонок и Звонок. Имени, наверно, и не знает никто. В школе, в ремесленном и в армии — всюду он был и будет Звонком. Всю жизнь...» Он представил себе Звонка лет через пятьдесят, маленького и седенького, такого же. И ему стало грустно. «Боже, как понятно все!.. — думал он. — Всем чего-то не хватает, а ему больше всех. Все мы немножко Звонки...»

«А чего мы ждем? — вдруг думает Кирилл. — Что сейчас последует? Ничего теперь не известно. Все будет в первый раз... Что же они тянут-то так долго!..»

Ожидание стало томительным.

Стук в дверь. Сначала робкий, потом сильнее, сильнее. Все смотрят на дверь: и это развлече-

ние... Знакомый лейтенант выходит из-за своей конторки, направляется к двери. Отодвигает задвижку.

Запыхавшаяся, зареванная Валя. Такое незнакомое ее лицо... Кирилл никогда не видал ее без краски: рыжие брови, рыжие ресницы. Беспомощное, детское лицо...

— Капустин... Капустин... — говорит она, не видя ничего: ни парней-призывников, сидящих по стенкам, ни среди них Капустина Кирилла, парня-призывника, а видела только расплывчатое, непомерно большое лицо лейтенанта, это лицо разрасталось и заполняло собой дверь...

— Капустина мне... мне Капустина... — слышал Кирилл и почему-то не вскакивал, а оставался сидеть и смотрел на Валино знакомое и родное — и неузнаваемое, рыжее, беспомощное лицо — и некрикливое, грустное счастье поселилось в нем. Валя замерла на пороге, держа одной рукой распахнутую дверь, наклонившись вперед, а лицо невидящее, ждущее...

И поверх ее головы тянутся уже другие головы, заглядывают.

Лейтенант оборачивается: лицо у него растерянное, удивленное:

— Капустин, вас зачем-то спрашивают... — говорит он каким-то неуверенным, не офицерским голосом и смотрит на Кирилла чуть ли не с почтением.

И тогда Кирилл встает и видит, как его увидела Валя, идет к ней чинно, размеренно, сдер-

жанно, а внутренне бежит, и этот почему-то подавленный бег разрывает его.

Валя стоит, все так же держась за ручку двери, чуть наклонившись вперед. Над ней тянутся чужие головы — ищут по стенкам своих, делают какие-то знаки... Кирилл подходит, и Валино лицо светлеет, светлеет...

— Здравствуй... — говорит он.

— Я так бежала, бежала... Думала, вы уже ушли... — скороговоркой, выдыхая, говорила Валя. — Думала, не увижу... — Она всхлипнула, и слезы висели на ее рыжих ресницах. — Я только под утро уснула — и проспала... — сказала она виновато, и все лицо ее, обращенное к нему, только к нему, лицо, большое как мир, глаза, зареванные, с рыжими ресницами, Кирилл запомнил на всю жизнь.

— А вы что нарушаете? — сказал из-за спины Кирилла лейтенант, и чье-то длинное глупо ухмылявшееся лицо, потряхивавшее над собой бутылкой, сжалось и удалилось, и чей-то другой голос, кричавший что-то над Валею, утих, и Кирилл сказал:

— Мы еще увидимся... Подожди тут...

— Да... да... — сказала Валя.

Лейтенант снова запер дверь, а Кирилл вернулся на свое место, пытаясь не видеть, как смотрят на него ребята, не покраснеть. Да он и не видел. Только поймал восторженный взгляд Звонка.

Он сел на свое место и был счастлив.

А Звонко все крутился сбоку, подталкивал

Кирилл локтем и шептал ему что-то непрерывно и быстро, но Кирилл не слышал его.

«Господи! Сейчас бы вчерашний день... Я все понял. Все было бы иначе...» — бессвязно думал Кирилл.

И тогда из двери, все время закрытой, вдруг появился тот же капитан с красной повязкой и сказал:

— Явитесь завтра, в это же время. А пока вы свободны.

И, ничего более не объяснив, ушел.

Это было так неожиданно — то, что сказал капитан, что никто сразу не понял. Все молчали какую-то секунду с растерянными лицами, и было физически видно, как медленно шевельнулось что-то в общем мозгу и дошло до сознания. Звонк сказал: «Мама...» Тогда все загалдели, заülüлюкали и, подхватывая рюкзаки, бросились к двери. В дверях образовалась пробка. Кирилл прижали к косяку, развернули и спиной выпихнули на площадку. Он побежал по лестнице, увидел Валю, подхватил ее, ничего не понимающую, и вытащил на улицу.

Морозный воздух обжег лицо. После электрического света глаза ничего не видели. Кирилл держал Валю за рукав и не отпускал, пока не увидел ее снова. Ему все еще казалось, что все исчезнет.

— Вот... — сказал он. — Мы свободны...

— Как?..

— Целые у нас сутки...

И они пошли, обнявшись, по темным улицам, какое-то неиспытанное ни разу чувство овладело Кириллом, и он лепетал что-то бессвязное, словно вспоминая слова, но и молчать он не мог.

...Иногда особое состояние посещает человека. Это как итог, как высшая точка чего-то, давно и незаметно росшего и зревшего внутри. Это состояние какой-то особой полноты, спокойной и глубокой радости, доброты к окружающему и понимания его. Это взлет, озарение. Оно освещает человека изнутри. И вы всегда, если знаете, что это такое, увидите этот свет на лице человека, особую печать.

Это состояние длится и проходит. И идет та же жизнь. Но она и не та уже, раз человек знал такое состояние.

Это наивысшее человеческое счастье. Человек зарабатывает его. Долго и трудно. И может очень долго не знать его. И пробыть в суете, судорогах, в придуманных, не своих, состояниях и в мелких сравнениях с самим собой строить понимание мира и иметь с ним мелкие и собственнические счеты. Можно бегать, что-то делать, чаще не то, уставать, злиться, спорить — и думать, что ты еще и не живешь вовсе, да ты и не будешь тогда жить, только будут отщелкивать годы, и вся твоя жизнь будет условна. Человек может так пробыть всю свою жизнь — и все будет се-

рым для него. И земля и деревья его — темны и мрачны.

И вдруг все открывается ему. Запах леса, запах земли, запах большой воды и запах снега. И их вкус. Трещит кузнечик, пятна света под деревом и лес травы перед глазами. И их смысл. Лицо, что наконец увидел, может быть, случайное, встречное — и не будет его больше. И небо, небо над головой! Трава и небо. Их запах. Их вкус и их смысл. Упасть лицом в траву — и лес травы перед глазами, огромные в нем звери. И только это перед глазами — весь мир в этом. А потом перевернуться на спину — и небо. Все — только небо. Трава и небо — мир мгновенный и мир вечный, мир ничтожный и мир бесконечный. И мир первый равен миру второму.

Мир — огромный. И что в нем один человек?

И вдруг кажется, что жизнь человека в этом мире может быть измерена одним таким взлетом. Это начало всего творческого в мире. Это такое индивидуальное и одинокое чувство, но именно оно роднит нас с миром. И оно же делает одного человека отличным от другого.

Они сидели тихо, недвижно, почти не разговаривая, словно прислушивались к чему-то новому, неизвестному и самому важному в себе, прислушивались и боялись потревожить. Они не зажигали света. К полдню окно начало светлеть,

с трудом светлело, потом сразу начало темнеть и к двум часам стемнело.

Пришла Клава, зажгла свет, смешалась, увидев их, и поспешно погасила. В сумерках она прошла через всю комнату, непонятно зачем взяла с комода спички и ушла, так ничего и не сказав.

И больше не возвращалась. Это было впервые, что она не пришла ночевать.

День был большой. Его было не забыть, но его было и не вспомнить. Ничего вроде бы не произошло. Не было событий, не было суеты, не было судорог, спешки и жадности.

Этот день начинался где-то бесконечно далеко в памяти и все не кончался.

Было раннее утро. Снег, темень. Скорее ночь, чем утро.

Колонна призывников шла по дороге. И если смотреть на них немного сверху и сбоку, то было видно, как покачивалась с каждым шагом колонна, как подпрыгивала при каждом шаге то одна голова, то другая и как подпрыгивали они все вместе, потому что люди в колонне шли не в ногу и построились произвольно, не по росту. Все были в выцветших, поношенных одеждах с нетяжелыми мешками за плечами, потому что

все равно им выдадут форму, а если взять с собой хорошие вещи, они испортятся за три года, а так они долежат дома до «гражданки». И из-за того, что они были так одеты, все они были гораздо более одинаковые, чем на самом деле. Да так и должно быть: идет колонна... Шла колонна, и все были одинаковые, в бесцветных, поношенных одеждах, с нетяжелыми мешками за плечами. Только двое шли отдельно: один впереди, другой сзади, — несли красные сигнальные флажки. И еще только одно пятнышко было во всей колонне: кто-то нес большой желтый чемодан. Они шли, и, если смотреть немного сверху и сбоку, то каждая голова подпрыгивала при каждом шаге, и все они подпрыгивали вместе, потому что шли они не в ногу и построились не по росту.

Марш был восемнадцать километров. Дорога шла лесом, но он только угадывался двумя темными массами по сторонам. Дорога была плотная, укатанная и попискивала под ногами, потому что был сильный мороз. Сначала холодно, колочее горели звезды. Потом они потускнели, ушли, и зажглись сполохи. Три аккуратных белых занавеса спустились с неба и так висели, изогнувшись красивыми складками. Эти занавесы, их складки, казалось, шевелились, по ним пробегали волны, словно там, высоко, их теребил ветер. Он теребил их все сильнее, и они разгорались все ярче странным, неверным светом.



А внизу, где шла колонна, было тихо. Лес стоял тихий, двумя темными массами слева и справа, и только попискивал под ногами укатанный наст дороги.

Колонна шла быстро, все разогрелись, и мороз словно бы не было. Но шли они молча — и потому, что быстро, и потому, что мороз прихватывал дыхание. Дорога то полого спускалась, то некруто поднималась, но понять это можно было разве по ощущению в ногах, потому что в колонне, да еще ночью, дороги не видишь. Когда дорога поворачивала, занавесы сполохов разворачивались тоже, и тем более переменчивой казалась их игра.

Шли долго, и уже не ощущалось время: минута ли, час ли...

Справа стало светлеть, и тогда оказалось, что лес был слева от дороги, и то чахлый, кривой, и за ним поднимались холмы, а справа была ровная снежная гладь до самого горизонта. Горизонт был прочерчен ровной красной линией. В одном месте эта линия утолщалась и раскалялась — там обозначился краешек солнечного диска. Он был очень красный, и смотреть на него было не больно.

Совсем просветлело, и тогда стал виден мороз. Он носился в воздухе искристыми иголками. Воздух был сухой, крепкий, видимый, про него уже нельзя было бы сказать, что это пустота.

И оттого, что мороз стал виден, он стал будто сильнее, защищал нос, щеки и лоб. На самом

деле это поднялся с рассветом ветерок, слабый, никому не заметный. И колонна прибавила шагу.

Солнце медленно, с трудом выползло над горизонтом и наконец словно вывалилось над горизонтом и повисло, отделенное от земли тоненькой полоской неба. Повисло непомерно большое и красное.

Дорога попискивает под ногами. Идет колонна, и все в колонне, если смотреть немного сверху и сбоку, совсем-совсем одинаковые. Тем более — если стоять, а они идут, удаляются. Да еще впереди повисло непомерно большое и красное солнце. А оно хоть и совсем неяркое, но на фоне его фигурки в колонне становятся совсем черными, да еще колонна идет, удаляется, и шеренги сливаются. Если стоять и смотреть немного сверху и сбоку...

Но нет, еще можно разглядеть... Вон там, в колонне, со всеми, в третьей шеренге с конца, второй справа... уже совсем маленькая фигурка... Уходит со всеми Кирилл Капустин, неплохой вроде бы человек. Не низкий и не высокий. Не толстый и не худой. Не красавец и не урод. Не сильный и не слабый. Не зрелый и не ребенок. С достоинствами и недостатками. Большой и маленький. Единственный и многих. Он успел уже полюбить что-то.

Уходит человек по дороге, в колонне, со всеми...

1959—1961

Оглавление

Не пропадать же билету!	5
Письма	7

Часть первая. ТРИ ДНЯ НЕУВЕРЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Суббота

Коля-друг	14
Дурачок	21
Кирюха	29
Первый бал	33

Воскресенье	41
-----------------------	----

Понедельник

Рождение понедельника .	73
Слоеный пирожок . . .	76
Понедельник — день тяже- лый	84
Побег	93

Часть вторая. ТРАВА И НЕБО

Равновесие

Суббота и воскресенье . .	102
Понедельник и далее, изо дня в день	120

События

Повестка	135
На секунду бы раньше... 138	
Комиссия	150

Расставание

Послезавтра	163
Завтра	176
Сегодня	187
По дороге	201

БИТОВ
Андрей Георгиевич

ТАКОЕ ДОЛГОЕ ДЕТСТВО

Л. О. изд-ва «Советский писатель» 208 стр.

Тем. план вып. 1965 г. № 71

Редактор **К. М. Успенская**
Художник **Б. В. Власов**
Худож. редактор **М. Е. Новиков**

Техн. редактор **М. А. Ульянова**

Корректор **Ф. Н. Аврунина**

Сдано в набор 1/ХП 1964 г.
Подписано в печать 28/ХП
1964 г. М 59340 Бумага 70×
×108^{1/32}. Печ. л. 6^{1/2} (9,1).
Уч.-изд. л. 7,67. Тираж 30 000
экз. Заказ № 2232. Цена 29 к.

Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградская типография
№ 5 Главполиграфпрома
Государственного комитета
Совета Министров СССР по
печати, Красная ул., 1/3

